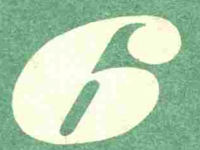






НОЯБРЬ, ДЕКАБРЬ

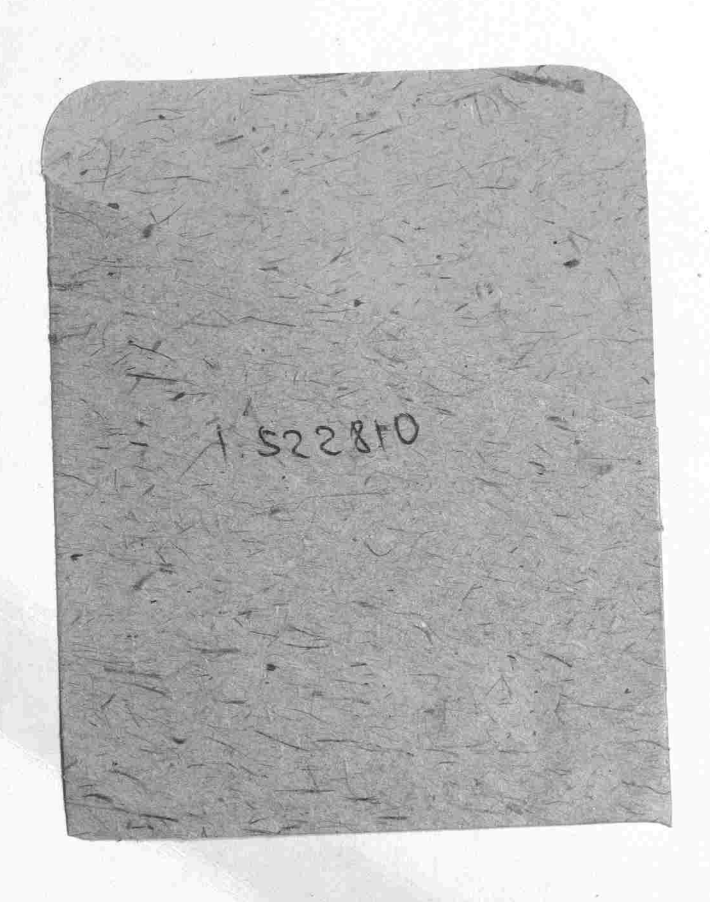
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ОПИСАНИЯХ БЕЛОГВАРДЕЙЦЕВ

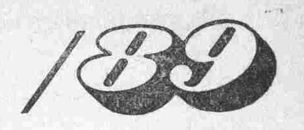
ДНЕВНИК В. Н. ПЕПЕЛЯЕВА

ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ П. И. ПЕЖЕМСКОГО И В. А. КРОТОВА

Н. С. ТЕНДИТНИК — ТАМ ЛИ СПАСЕНЬЕ, ГДЕ ЧАЕМ?




1.522810



Литературно-художественный и общественно-политический двухмесячник

Орган Иркутской и Читинской писательских организаций РСФСР

ОСНОВАН в 1930 году

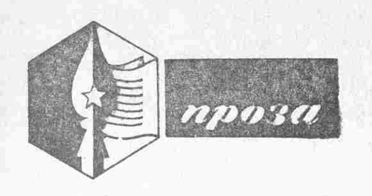
СОДЕРЖАНИЕ



Иркутск Восточно-Сибирское книжное издательство

ISSN 0132—6740

На, 3-й странице обложки,
на вклейке фотографии Крестовоздвиженской
церкви и икон, в ней находящихся



Алексей ЗВЕРЕВ

ДЕРЕВЕНСКИЙ МУЗЕЙ

ЧТО ЕСТЬ И ЧЕГО НЕТ В НЕМ

Сколько раз я бывал в этом деревенском музее. И в ту пору, когда он впервые собирался в ветхом здании старой школы, в которой давным-давно учился я сам. Побывал, а потом встревожился, не погибло ли все, не напрасны ли были хлопоты учителя географии Николая Владимировича Перетолчина. Но на базаре от сельчан-уриковцев узнал, что из огня, из горящей школы, рискуя жизнью, немолодой человек вместе с учениками вынес все до единого экспоната — эти дряхлые, изношенные, казалось бы, никому не нужные, даже хуже, чем барахольные, крестьянские «мунишки».

И в ту пору был, когда добро это поместили в более позднюю, но тоже почерневшую от времени школу, в которой я уже не учился, а учил ребятишек. Видел, как стараниями беспокойного человека насобиралось столько добра, что в один класс оно не вместилось, и пришлось выхлопотать еще класс.

Был не единожды и в новом последнем здании музея, расположенном в колхозном клубе. Тут учитель отвоевал четыре комнаты, больших, светлых, его ученическая дружина постаралась немало: казалось, и нынче тесновато вещам, собранным теперь уже не только в самом колхозном центре, Урике, но и в Грановщине, и в Тайтурке, и в Ширяеве, и в Усть-Куде, и в других близ расположенных селах. Неспокойные руки человека дотянулись до известного печальной знаменитостью Александровского централа.

И вот тянул меня этот музей к себе, хотя казалось попервости, что собиратель его — человек угрюмый, неприветливый, могущий на вопрос не ответить, или отложить ответ на долгое «потом», или вяло буркнуть и отвернуться, будто все эти приезжие отрывают его от раздумий об отмершей, отыгравшей свою пору старине. Я потом и сам стал задумываться, ведь ушло-то ушло, а отчего же ломится народ, едут на легковых и автобусах, толпами и поодиночке, стоят, притихнув над каким-нибудь изношенным черком, потрогают его, да мало что потрогают — кажется, понюхают его, не пахнет ли он тем древним черошным запахом, который шибал по носу из лавки давнего и забытого, а потом и поруганного нэпмана.

Много лет назад, побывав первый раз в музее, я оглядывал это все ушедшее или уходящее и улыбался, в душе даже посмеивался наивности учителя. Конечно, приятна была встреча с вожжами, которые я держивал в руках зимней стужей и в летнюю жару, с молотилом — и им пришлось в юности помахать дивно, с бороной и сохой, с хомутами разной старости, с иконами и лампадкой, кованым сундуком, старинными монетами, ступами, с ичижками, которые по целому лету не сбрасывал с ног. И думалось, ну и ладно, и до свидания, да нет, прощайте навсегда, куда удобнее нынче ботинки, и привезла тебя сюда бойкая машина, которой не надо ни овса, ни кнута. Не стало надобности всю ночь

тащиться по «тянигусу» (пологой горе), трясясь на разбитой тележонке, чтобы продать на два рубля лучишку или чесночишку и взамен купить два аршина бумазейки и звенышко кеты, которое дома ждут не дождутся двенадцать ртов, как самое великое лакомство.

В душе смеялся над увлечением учителя, но вот диво, с годами, когда предметы крестьянского обихода стали выпадать из рук человека, прятаться в потемках чердаков или дотлевать в мусорных подгорках, когда модные ныне молодые и старые даже на работе стали носить скользкие и непродуваемые сюртучки, с годами глядя на эти износки и обрепки, как-то теплее становится на душе, коснется тебя грусть-тоска по утраченному и будто ты сходил в гости к давнему, тобой забытому другу. Так и есть: вот лежит перед тобой ссохшееся скрюченное от дряхлости путо с полустертыми петельками и деревянными застежками, на которых не стерлись еще следы ножа, и ты застыл перед ним, как заколдованный, и какой-то мир прошлого нижется, собирается в единую сказку или в давнюю, может, печальную, даже суровую, правду, какая вспомнилась сейчас мне. Помню, какой переполох пришел в нашу семью, когда мокрый от пота, до смерти утомленный и исстрадавшийся притащился домой отец с сырой шкурой Савраски на плечах, а за ним грешник беды, весь исплаканный старший братишка. В десяти верстах от дома, близ реки была наша заимка. В страдную пору пас парнишка лошадей и, чтобы не убежали куда, стреножил их, то есть спутал вот таким же путом, на которое я сейчас гляжу, да в прибавок повод уздечки пропустил меж передних ног и привязал к задней, чтобы лошадь только тем бы и занята была, что ела и головы поднять не могла. Сам же пастух залез на черемуху и наслаждался ягодами. Лошадь наелась и захотелось ей попить. Скокнула раз в реку, скокнула другой, да и угодила в глубинку, ноздрями-то в воду, а головы не поднять. И захлебался конь к печали всей семьи. Стою в музее и ищу глазами узду — да вот она в медных позеленевших бляхах, с веревочным поводком — такие поводья бывали у нас. Не наша ли она? Конечно, не наша, но какая же она родная, так бы и взял ее и приманил к себе Савраску: тпрсё! тпрсё! дал бы ему сперва мякишек хлеба, а затем и уздечку накинул, ко пеньку подвел и вот уже я на «вершной», на спине коня. Родная, а ведь беду принесла. Но, видно, такое уж устройство памяти, что со временем печаль и горе обкатываются, вымарывая, осолнечиваются и обласкиваются. В жизни чьей-либо одной сколько на пути страданий и горестей — потеря родных, пожары, войны и раны, голод и измены, но видно, больше в душе человека силы вымарывать зло и собирать добро, удерживать его перед глазами, жить им, опираться на него. Не исключаю, есть люди обратного свойства, но это редкость, это уродство души.

Хожу от одной полки к другой — и время то отступит, то приступит. Вот эти наконечники стрел уж вовсе далеко, за сотни лет отбросили тебя в прошлое. Я не знаток этих древностей, но они найдены ведь тут, на твоей земле, где живу я, жил отец и дед, жили какие-то другие родичи. А до них, пришедших из Руси, жили тут буряты, эвенки, и тоже, как мы, любили эту землю, спасали ее этими стрелами, умирали за нее, и где-то лежат, не истлели поди их косточки, по крепости не слабее этого ржавого, истончившегося, шелушащегося прахом наконечника. И рождается извинение и перед землей, и перед прахом тех, кто лежит в ней, за то, что не они, а мы, изловчившись и излукавившись, отпугнули их и пашем эту землю, лелеем ее и зовем своей. И бердыш, такой неловкий, тяжелый и неуклюжий для нашего глаза и такой красавец для первого здешнего казака, как пугал и устрашал он своим адским огнем. А молчаливая земля принимала на себя первые казацкие посты-крепостцы, первые избы совсем другого, нездешнего строя, первые деревянные, а затем и каменные храмы, рожала хлеб и воспитывала скотину теперь уж для Коршуновых и Третьяковых, Поповых, Силиных. И всего полвека назад ушли эти Силины за тридевять земель на другой край земли защищать то, что оставили за своим следом, опасаясь и ожидая, что вместо их следа, их глаза, их любви будет стоять на малой площадке серый в корявинках обелиск.

И вот она, гимнастерочка с красной звездой, откуда она и чья, не подписано, и не надо подписывать, пусть будет общей для живых и для мертвых. Кроме волнения, она ведь ничего не принесет и ни о ком не расскажет. Как не сумел объяснить, что такое патриот, отечество, мой старый деревенский дружок Иван Иванович Бурлев, упрямо подвигавшийся к родимой земле через десять госпиталей, добрался до Иркутского и тут был заживо похороненный. Его исстрадавшаяся Глаша обегала все городские больницы и госпитали, держа в руках страшную бумажку, и нашла-таки Ивана Ивановича со сложенными на груди руками, нашла и ахнула и отпрянула от покойника — не он! И Иван Иванович, и Бурлев, а не он. И только через полгода встретила своего Ваню, на костылях одолевшего расстояние в пятнадцать километров. Есть ведь что-то такое неписаное в душе, что богаче и сложнее слов патриотизм и отечество, и не целует человек землю, не носит ее на груди в мешочке, а, вернувшись, станет на нее твердой ногой и начнет, как может, делать свое дело.

Красоту в музее можно не искать — она сама на глаза попадается. К дуге с вырезными кружевными цветами и листиками, в конце того века покрашенными розово, красно, сине, подвязаны колокольцы, туго-натуго, сыромятными ремнями. У колокольцев крепкие опояски подле ушка, это затем, чтобы звон был чище и тверже. Может, кто-то позднее старческой и от того опытной рукой умело привязал их, к тому же и сыромятинка свежа и желта, но дуга — таких дуг не делали на моей памяти — широких, чисто обработанных, каких-то праздничных, что ли. Я помню лишь, когда их в торжественный час вытаскивали из дальних чуланных или завозных углов с такими же нарядными хомутами, седелками и шлеями с зеленой суконной подкладочкой, окованными бляшками разных форм и фасонов. Затем все это тряпкой или мягкой щеткой протирали и потом только несли к коню. А конь! Ведь только мирно доедал овес, только покойно скреб гриву кобылице, как и она ему, пусто щелкая зубами, а тут, еще в калитке дворовой застряв, почуяв запахи свежей упряжи, вздрогнул и заржал, играя селезенкой, и как бы с радостью, бегом двинулся на хомут. И уж вовсе, как дитя, захрумкал по снегу копытами, когда над гривой его звякнули колокольцы. Глаза сверкают, ноздри ширятся, уши прядут и по всему корпусу его пробегает нетерпеливая дрожь. И только расхлобыстнутся половицы ворот, лопается терпение коня — вон вылетает на улицу, только подбирай полы тулупа, держи вожжи покрепче да ловчее угнездись в кошеве. Кстати, кошева. Ее нет в музее — громоздка для него, да вряд ли найдешь где ее теперь. Ране один хозяин перед другим похвалялся кошевкой, ласково называя этот возок именно так — кошевка. Где она родилась впервые, в городе ли, в деревне? Кто придумал первым эти струнные слегка выгнутые оглобли, эти легкие, как у детских санок, отводины и всю ее легкость и воздушность, дабы ни единой лишней тягостью не утруждать коня. Легче кошевка — легче бег, быстрее езда. Всякой сколько-то укрепившейся крестьянской семьи первая радостная мечта — кошевка. Есть она — мужик зажил твердо, а сбруя и добрый конь — мечта следующая.

В зимний свадебный день летают эти кошевки по улицам и переулкам села, для показа, конечно, и для разгона. Потом уж они соберутся в десятку или в два десятка подле дома жениха или невесты, подле церковной ограды, и замешайся кто в пору на санях — такой смех поднимут, таких кличек напридумывают. Ну, правда, и не обидят — где пока мужику взять кошевку. Пока. Потому что он не один раз ходил к знаменитому мастеру-кошевочнику Григорию Ефимовичу Третьякову, да у него очередь на два года, так же как ране была очередь у гармонного мастера Киселева в Иркутске. Нет портрета Григория Ефимовича в перетолчинском музее, как забыта и потеряна его могилка на кладбище. А слава до сей поры живет среди людей. И никому не оставил он своего великого уменья. Был сын Андреяша, он все крутился подле отца и уж много перенял от него, да увела его за собой война и не

вернула. Сын Ваня жив и по сей день, да ведь не всякому дается в руки талант и любовь.

Я как-то пошел собирать по селам старые фотографии, нашел и Григория Ефимыча, и как он похож по снимку на себя живого. Сразу вспомнился этот неторопливый, малословный и очень добрый человек. Кажется, и косоворотка его та же, в которой он работал под сараем, окруженный ребятней. Мы мешали ему своей неугомонностью, он терпел, уходил весь в работу, пожевывал губами и скрывался в маленькой мастерской. Туда уж мы не смели войти при нем, и только Андреяша, крадучись, открывал дверь, и, не заходя, мы видели красивую игрушку — новую народившуюся кошевку. Но он был добрый мастер и по железу. В трудное послеоктябрьское время негде было купить плуга — от сохи стали отворачиваться. И пошли мужики к Ефимычу. «Ты, Ефимыч, все можешь, делай соху да такую, которая работала бы, как плуг». И засел Ефимыч за свои чертежи, кои были все в голове, и повелел затем мужикам на железную дорогу двинуть — там годного и негодного много валяется, а не валяется, так за булку хлеба из склада можно получить. Натаскали ему разных железяк полный подсарай, и принялся колесник колдовать над ними да губами пожевывать по привычке. Скоро выставил середь двора изобретение—будто бы та же соха и не та, оглобли сохи, сошник и лемех плуга. Да лемех-то как загнут и отшлифован. Полсела мужиков толчется вокруг нового орудия: «А как оно пойдет в борозде, спробовать?» За все время Ефимыч слова не проронил, лишь глаза посверкивали тревожно и радостно, он же первым взялся за рукоять, сделанную по-плужному, хоть и аляповато, некорыстно. И пошел плужок, и почал пометывать блесткий огородный чернозем, и тут на время забыли о кошевах — дай каждому «косулю», — за что и не припомню, так прозвали Ефимычево новшество. И опять очередь к нему на все нэповские годики. За десятки верст отсюда некоторые умельцы пытались перенять изготовления «косули» и переняли многое у Ефимыча, а все ж таки не так отваливала землю, не так ловко подрезала борозду, не так твердо стояла, ведь ту, Ефимовичеву, даже подросток мог держать влеготку. И пригласили тогда мужика на выставку, в ту пору тяжкую, когда и выставляться-то было не с чем, а надо было обозначить первые нэповские шаги. Надо было видеть в те дни мастера. Он заперся в своей мастерской на две недели и никого не пускал. Только через окошко могли мы с Андреяшкой подсматривать: нас он тоже видел и не обращал внимания — ребятишки, что они понимают в его деле. Потом уж в канун воскресного дня под вечерок выкатилась на улицу телега и на ней «косуля», да какая «косуля» — оглобли покрашены в вишневый цвет, поручни в красный, шебола так высветлена, что хоть заглядывай в нее, как в зеркало. Окруженный толпой зевак, встроился Ефимыч в обоз подвод с десяток и только под другой вечер вернулся с грамотой — и как бы кстати той грамотке быть в перетолчинском музее. В грамотке изобретение названо «кустарным плужком», и рекомендовалось размножить его по всему уезду. Но так уж всегда бывает с настоящим мастером — что-то не глянется Ефимычу в своем детище, часами ходит вокруг него и курит одну папироску за другой. Не зря же его называли Григорий-Колесник — колесики-то он и смастерил и тележку к ним складную, стрелу обновил — пусть будет не только в грамоте, но и по виду похожим на плуг. Так на десяток лет, до самой «сплошной», рядом с «сакковским» плугом трудилась «косулька» и успешно соревновалась, а сам Ефимыч тем временем новое мастерство постигал: он замыслил новый дом соорудить, видать, «косулька» скопила ему излишек. Он объездил многие улицы города, срисовал кружевные ворота и карнизы, крылечки и верандочки. И приступил рубить дом. В ту пору нэповскую не один мужик Ефимыч схватился за новый дом. Рубили десятки даже малосильных мужиков, явилась надежда на добрую жизнь, власть-то не какая-нибудь, а рабоче-крестьянская. Рубили, вытягивая жилы, недосыпая и недоедая, и с необыкновенной любовью оглядывали каждый венец, каждый угол, каждое бревнышко и все бегали к Ефимычу перенимать городскую красоту. И даже Максим Богачев, у которого совсем

недавно сгорел дом, и тот помочью навозил бревен и заложил сруб и сруб-то какой, шесть на восемь, пятистенку. Сам свой рисунок выдумал для карниза, с двумя сыновьями-подростками и с малышом Сашкой, с грузной хозяйкой днями и ночами поднимали сруб и украшали, украшали придуманными кружевами карнизы и наличники. В два года поднялся красавец-дом на удивление всего села и самого Григория Ефимовича, который с завидкой оглядывал его и приговаривал: «Вот тут ты лучше меня сделал, тут вовсе на отличку, экой ты выдумщик, экой мастеровитый». Только дому тому пришлось годами чернеть и чернеть без посмолки и без покраски, а самому Максиму дожидаться дня погибели на далеких сибирских «соловках».

Жаль, что ни одной гармони нет в музее. Тоже какая-то мода открылась по всей Уриковской волости, копейка, видно, лишняя забренчала в кармане. На Тулу, конечно, не надеялись, Тула только начинала поправляться от военной беды. Свой, иркутский мастер, который до того молчал, и о котором до поры шла глухая слава, голос свой подал на одной из глухих городских улочек, подал невзрачной, какой-то косоватой вывеской с расхлобыстнутой двухрядкой «Мастерская гармоний В. И. Киселева». Тут же скоро появились и другие мастера, и город запросы деревенские утрясал. Но славу особую обрела гармонь «киселевская». Лучше ли она была, прежней тульской, кто знает. Может, на гармониевой нехватке она казалась такой хорошей, только мастер Киселев был завален заказами и вместо двух-трех гармоний в год он со своими подмастерьями мог делать десятка два. Так захотелось звенеть музыкой той прежней вновь нарождающейся деревне после восьми-то лет войны. Иной парень играть не умеет и по своей полной музыкальной глухоте может только глупо тыкать в пуговки. И гармонь стоит в переднем углу как украшение, как признак приходящей помалу сытости и обеспеченности. В эти годы всего больше было поднято целины, посеяно ржи, пшеницы, овощей для города, все большее число мужиков повезли свой излишек на вольный городской рынок. Не было в это время ни очень бедных, ни слишком богатых, открывался здоровый общий хозяйственный подъем, и лишь бобыли, лентяи и просто нерадивые мужики, любившие попусту хлестать Ангару удилищем, попусту, потому что река не так просто отдавала свои богатства нерадивым людям, — вот они жили «от куска до куска». Но таких в волости было немного.

В малые годы, с двадцать второго по двадцать восьмой, в шесть, семь лет, если сравнить ее с довоенной жизнью, с очерком писателя М. В. Загоскина, люди обрели какую-то радостную, впередглядящую, обещающую, призывную жизнь.

И не лучше ли зажили, чем жили в пору довоенную. М. В. Загоскин в книге «Одна из сибирских общин»* как раз и рассказывает об одном из сел Уриковской волости, о селе Грановском. В главе «Благосостояние» писатель рассказывает, как в прошлом богатое село к концу XIX века запустилось и обнищало. Владельцы до четырех десятин (десятина чуть больше гектара) сеяли хлеб на хлеб. Соха — единственное орудие пахоты. Было еще три «колесухи» — это та же соха, только помощнее, и ею на паре лошадей поднимали целину. Хлеб душила спорынья и головня. Озимые сеяли только что сжатым «молодым» зерном, отчего посевы к зиме запаздывали и часто вымерзали. Многие от бесхлебицы ехали в Томск с товарами. Иных выручало сено и дрова, с которыми они ездили в город. С десятины добывалось 24 меры (пуда), иначе 4 центнера. Цена на базаре — 1 руб. 35 коп. за пуд. Доход с десятины был равен 8 руб. 40 копейкам.

Бедняк при таком доходе продавал или бросал землю, шел в работники или убегал на сторону. «Многие (60 семейств) от нужды бросались в торгашество: продадут теленка, лошадь, займут 10—15 рублей, купят в городе сотню омулей, сотню деревянных ложек, кладут на воз мешок луку, чеснока и едут в дальнюю глухую деревню за сорок верст, меняют

---

* М. В. Загоскин, сибирский писатель (1830—1903). «Одна из сибирских общин», очерк о селе Грановщина Иркутского уезда (1891 г.).

добро свое на хлеб. За пять, шесть дней наменяют 20 пудов, раздадут долги и живут. За зиму съездят так раз десять и кое-как сыты».

Та́к вот жили мужики за тридцать годов до нэпа. Многие черты жизни сохранились и в послеоктябрьское время: возили в город дрова и сено, картофель и лук. Но уже не ездили в дальний извоз и вовсе перестали заниматься торгашеством — поверили в землю и в скотину. Стали протравливать семена и выжили из хлеба головню и спорынью. Открылось своеобразное соревнование — кто лучше и теплее построит конюшню и скотный двор, у кого белее булки и калачи от зерна, провеянного сквозь снег на широких ангарских «ладонях». В Грановщине по М. В. Загоскину из 166 хозяйств 42 хозяина жили без скота. В Усть-Куде при нэпе без коровы или лошади было два-три хозяина, не больше. В Грановщине главной «язвой» жизни было пьянство: «Кто не пил и трудился, тот окреп. Кто пил — был богатым, растерял все». 40 хозяев в селе страдали от пьянства. В Усть-Куде при нэпе «гуляли» единицы. Даже прогулявшие все брали кредиты и обстраивались, хватались за землю, стыдились отставать от лучших. И в Усть-Куде до войны (первой мировой) было четыре лавки, где главным товаром была «Николаевка», то есть водка. А дворов-то было всего 250. При нэпе была одна «потребиловка», и в ней главным был красный товар.

Советские праздники прививались еще слабо. Пройдут по селу со знаменем. Единственный коммунист с крылечка школьного выступит с речью, на том и праздник заканчивается, если не приедут городские шефы. Шефы привносили празднику истинную красоту. Вся деревня поднималась в суете. Девки наряжались в лучшие платья. Бусы, серьги, медные колечки были в большой моде. Стали появляться белые оренбургские платки и серые пуховые шали. Парни любили носить длинные до пят шубы и черные или белые папахи под вид черкесских. В таком-то одеянии приходили в нардом, только что учрежденный в поповском доме. Замирали перед чудесами, которые неслись со сцены в пять квадратных метров. Дивили шефы деревенский люд городской бойкостью, ловким анекдотцем, спортивными пирамидами, акробатическим трюком и здорово нажимали на союз рабочих и крестьян. Иной раз и местный артист не выдержит, выскочит на сцену, сбросив шубу, и протараторит демьяновские стишки:

Мы с тобой родные братья.
Я рабочий, ты мужик.

Праздники старые, престольные встречались и проходили в покойной торжественности, с гостями из других сел, с гулянками вседневными, когда, «отсидев» в одной избе, шли в другую, третью, но мало кто напивался «дозела». И не верилось, что некогда в Грановщине к празднику припасали по два-три ведра водки и до обедни кабаки уже гремели людом. Правда, праздники уже теряли свое религиозное обличье. Осмеянная шефами, церковь забывалась, особенно молодыми, но никто не смел тронуть пальцем ее зеленой ограды, ее цветущей рощи, ее стен и всего, что было в ней. Все с любовью заглядывались на нее, когда два сельских смельчака Василий Грачев и Иннокентий Зверев красили в яркий зеленый цвет барабаны и шпили, опасно болтаясь под крестами, прилежно красили, потому что прошло с тех пор шесть с половиной десятков лет и, хоть давно сброшены колокола, растащено все и разграблено, и камень ее едва держится, а крыша все зеленеет, и с Ангары и с железной дороги церковь людям кажется живой.

Где выздоровление, там и песня. Не могу согласиться с М. В. Загоскиным, что люди Сибири «не поэтичные, не песенные». Песня после Октября звенела на покосных островах и на берегу реки, в ягодном лесу, на многолюдных полянках. Каждую минутку, как человек оторвется от тяжкого труда и выйдет на дорогу или сядет в телегу, он уже поет, было бы кому подхватить песню. И песен было не две или три, множество. Правда, много было песен тюремных, бродяжьих, таких, как «Я полюбила жигана с бадана», «Поезд молнией промчался», «Ой, тошно мне на чужой стороне»—песни эти горькие, печальные. Маленький кусок нэповской жизни бурного частушечного творчества, когда с поля или

сенокоса молодежь возвращалась с охапкой свежих частушек и на поляночной открытости совершенствовались и обострялись словом. Из военных песен наиболее популярной была «Артиллеристом я рожденный», из зарубежных «Трансвааль, Трансвааль, страна моя».

Особенно песенным звонким гармониебалалаечным было одно место села — Камчатник. Этот красивый берег Ангары совсем недавно, всего за шестьдесят лет до нэпа, слышал стихи Пушкина и Лермонтова. Не здесь ли сколько раз повторялись знаменитые строки «Россия вспрянет ото сна», здесь жила с мужем Мария Волконская, тайно привезшая призывное стихотворение поэта. Всего-то в 1856 году выбыл из этих мест Сергей Григорьевич Волконский. А до того на этом берегу реки собирались воедино два и три десятка декабристов, живших округ на поселении. Думаю, долго потом в сердцах на родину жил Камчатник, светлый и благоуханный уголок Сибири, в котором они так стремились оставить свой след, сохранить память по себе долгую и добрую. Три каменных дивана и кущи желтых акаций по сей день напоминают нам о их давнем присутствии. Оставили ли декабристы здесь духовную память? В Грановщине в 90-х годах того века учили грамоте поселенцы и брали за обучение по рублю человека. В такой частной школе обучалось в 1881 году четверо. Грамотных же в общине насчитывалось 30 человек. В Усть-Куде к двадцатым годам грамотных была половина села и среди них были добрые грамотеи, т. е. крестьяне, у которых на «бруске» бережно хранились «Робинзон Крузо», «Конек-горбунок», сказки Пушкина, повести Гоголя. Откуда они? Откуда в селе 120—130 грамотных крестьян? Не с тех ли пор началось какое-то ритуальное поклонение Камчатнику? Не след ли это живших здесь братьев Поджио и Александра Муханова, знаменитого дачника С. Г. Волконского? Камчатнику воистину поклонялись сельчане, как поклонялись ему невольные поселенцы. Не дивиться было невозможно этому прелестному уголку. На вершине крутого берега шумела «чаща», молодой ельник, сосна и береза, на три версты раскинувшаяся вдоль и поперек. По каменистой тропинке спустишься и попадешь на верхнюю террасу, или, как здесь называют, «залавок». Он небольшой и уютный, как ровная ступенька в горе, и зарос он той же сосной и березой. Спустишься чуть пониже — тут новая терраса, воистину залавок, длиной полверсты, глубокий, сумрачный, полный черемухи и боярки. Тут ищи третий диван, о котором мало знают посетители. И вот последняя терраса, обширная, больше тех первых, и на ней нынче известные два дивана, акации и обширный огород. Тут, по всей видимости, стоял прежде дачный и столь гостеприимный дом С. Г. Волконского и не должен в другом месте стоять: издали, набирая силу, всей мощью наваливалась на берег Ангара и отваливала влево, образуя завихрения, кружения, как бы желая смыть и унести на своих плечах острова Барабаны и Могин. Здесь подтащенная на камни стояла, наверное, лодочка-шитик, на которой гости, Мария Николаевна и сам хозяин уплывали на зеленые и пышные острова, одолевая волну, забираясь потиху подле бережка, чакая о гальку кованым наконечником шеста. А тут рядом и еще один остров великолепнее этих первых — Собачий. Думаю, удивлялись и недоумевали гости, зачем так назвали остров местные мужики, не потому ли, предполагали, что там невозможно накосить и клочка сена, там густые заросли кустарника. Над ним по весне купами возвышались белая черемуха и яблони, и все лето неслись с него ароматы цветов. Сказывают, что на нем единственном по всей Ангаре жили соловьи. Дальше, за островами, за главным руслом реки — знаменитый Московский тракт, там тянутся едва видимые длинные обозы в тридцать—сорок телег. По нему скоро декабристам уехать в Россию и последний раз глянуть на Камчатник. Попрощаться с ним и еще раз подумать, что там ими оставлен след в природе и в человеке. Им уже было не знать, что спустя недолгие десятки лет взойдет и здесь «звезда пленительного счастья», взойдет на миг и отнесется кометной пылью в пространство, чтобы вернуться через семьдесят лет.

Забегая вперед, скажу: не снилось и

не думалось тогда декабристам, что не Ангара своей волной, а злая рука человека снесет с лика реки острова Барабаны и Могин, оставив на их месте черную шишку, снесет десятки других островов и схватится за соловьиный остров Собачий и отгрызет от него половину своими железными клещами.

Жаль, что о нэпэ в перетолчинском деревенском музее не сказано ни единой строчки, нет ни единого экспоната. Может, это место занимают многочисленные самовары, большие и малые, двухлитровые и десятилитровые, пузатые и с тонкой талией, как городские модницы, медные и серебряные с отпечатками медалей всех ярмарок мира. О чем они рассказывают? Не о той ли черте сибиряка, что любил он почаевничать, и самовар в ту довоенную и послеоктябрьскую пору был непременным предметом обихода, как нынче холодильник или телевизор. Самовар в больших крестьянских семьях шумел и пыхтел с утра до вечера, распаляемый сосновой лучиной и березовыми угольками. При лучине, горящей в печурке, щепали лучину «гуртом», т. е. в три—четыре ножа, для чего заготавливали смолевые прямые поленья, просушивали их до звона. Снопы лучин лежали на полатях или на печи и выполняли роль изголовий. «Ставь самовар!» — слышалось восторженное слово в избе, когда виделись под вечер съезжающие с горки заимошные, или ударились оглоблями в ворота озябшие базарники, или гость неожиданный инодеревенский постучался в окно. «Самовар вскипел!»— всполахивалась семья и окружала стол, отражалась уродливо и широколице на пузатом медном брюхе разгоряченного красавца. Полтора века послужило русскому человеку чудо-изобретение и забылось, упрятанное на чердаках или перекованное в иные горшки-черепки. Теперь случайно сохранившиеся служители домашнего очага стоят на музейных полках, уставшие и гордые, как ветераны, и только старик, глянув на них, вспомнит, какие сказки, какие пиры собирались вокруг них. Скрылся по музеям самовар, но что же такое невысказанное живет вокруг него? Почему русский человек, едучи за границу, подарком тому народу везет самовар, будто кроме него нечего больше и показать? Неужели, отражая сотни и тысячи людей на своих до блеска вычищенных боках, он собрал тем самым воедино душу русскую? Самовары. Что их так много в музее? Кроме бытовых удобств, которые принес самовар после горшков, чугунков, что-то ведь оставил он незабываемое, душевное, национальное. Не то ли, что тут в досужее время собиралась доброта и широта русской души, разнежения и откровения. Целый мир приятностей вспоминался человеку, особенно старому, при виде самовара. Но отчего же и молодой человек, имея газ и электричество, за хорошие деньги покупает старого трудягу и копошится подле него, с волнением поджигает сухую лучину, подбрасывает угольки и думает одиноко и сладко под легкий шумок и покряхтывание, пьет душистый чай чашку за чашкой, следя теплым глазом за струйкой кипятка, текущей из фигурного крана. И отчего во всем уходящем мы слышим печаль и разлуку и какие такие нити нас связывают, скрепляют с прошлым?

Что доброго, скажем, оставила после себя коммуна, кроме досады или разочарования, но как едешь от Урика к Усть-Куде, на полдороге, у мостика, остановишься и увидишь одинокую сосну, ямы от подполий, заросшие крапивой. Если углубишься на полянку, бывший двор коммунарский, найдешь истлевшую оборку от чирка или сам чирок, конец проволоки, почерневший валек к постромкам — и отчего-то сердце твое ворохнется, жаль так и пронижет душу, горло перехватится от волнений.

Тут некогда начиналось добровольное дело людей и рассыпалось. Красивая сила людская зряшно потратилась, и не только потратилась, а навечно сгорела. Если я пойду по селам ближайшим и повспоминаю, найду ли нынче в живых пять—шесть бывших коммунаров. Вот тетка Матрена, жена одного из председателей коммуны; вот Андроник Зверев, пахарь, постаревший и полысевший и негодный нынче даже поймать харюза,

вот Илька Титяков, да нет, он давно в городе, а больше никого и не назову в живых, кроме самого себя. Все где-то на стороне в бедности и разочаровании закончили свою жизнь.

А зачин-то какой был, пьянящий и завораживающий. Какие хоромы, какая сытость и разные богатства виделись, когда собирались молодые и старые вокруг белокурого паренька, моего брата Ганьки. Ганька как волчок крутился, будучи первым председателем коммуны. То он в поле, то на сенокосе, то в город зачем-нибудь и все с каким-то прищелком, с лихостью необыкновенной, с хохотком и энтузиазмом. Ох, уж этот энтузиазм. С ним ложились спать в случайном углу на проспанном потнике и накрывшись шубенкой. С ним соскакивали на заре и бежали в табун за конями. Я совсем недавно видел сон, он прилетел из той коммунарской бытности. Будто проснулся я во время «ночного». Под рев дружков хватаю пальтишко, узду и бегу в артели таких же ребятишек, бегу в полутьму, хватаюсь за гриву коня, падаю и вновь хватаюсь, закарабкиваюсь на вершную и мчусь навстречу наступающему рассвету, сбивая себе зад, гикая и улюлюкая. В Ганьке-брате жил какой-то особый отчаянный энтузиазм. Помню, как он одаривал коммунаров отрезом сатина на рубаху и на сарафан и приговаривал радостно: «Носите на здоровье, придет время, не такие подарки будут у нас». Полуграмотный паренек, услышал, что в городе идет какое-то представление с названием «Чио-Чио-сан», посадил нас, кто хотел, на широкую телегу, запряженную тройкой, и вот мы на спектакле. Не знаю, запомнили ли что-нибудь мои друзья, мне и сейчас помнится эта поездка и страдание молодой женщины. Ганька чувствовал своей отвечающей душой, что неудобно, неприкаянно, как-то по-вокзальному живут столкнутые с вечной жизни его коммунары, и старался, чтобы в кладовке, малом амбарушке, были керосин и мыло, нитки и иголки — самое необходимое для сносной жизни. Урожай наш с первого года был хуже единоличного, и это был самый главный козырь деревни против нас. Чем козырнуть, чем хоть как-нибудь отличиться в хорошую сторону, и вот на какие-то особые кредиты купил Ганька племенного жеребца, которого наш или городской оригинал назвал Сократом. На масленице и проверили силу коня. Двое постромок привязали к вальку и впрягли в одну сторону Сократа, в другую самого крепкого коня единоличника. Сократ тут же легко поволок его да так, что конь тот пятился, пятился, да чуть в канаву не завалился. Впрягли двух коней — и двух Сократ потащил, слегка поднатужившись. Трех взял с трех приемов, и потом до троицы шел разговор на селе, что коммуна возьмет свое не как-нибудь, а силой. Ну и энтузиазмом — верили мы все и на троицу опять на телегу и на Камчатник, через все село, с песнями, да в тех самых сатиновых рубахах парни и в ярких сарафанах девки, в первом и последнем коммунарском подарке. Нас встречали насмешки и вовсе недобрые напутствия, но нас не покидал энтузиазм и вызов всей, казалось, злой и уходящей жизни.

Видно, первый и почуял Ганька свои руководящие слабости и запросился на рабфак. И получил на правлении решительный отказ и пословицу, которую запомнил до конца своей недолгой жизни: не до жиру, быть бы живу. Ганьке, правда, пришлось проходить другой рабфак— служить три года в армии, потом проехать с молодой женой мимо дома да в Нижний Новгород. Мимо, потому что детища его, коммуны, к тому времени уже не было, а жила одна дурная память по ней, подкрепленная открывшейся сплошной коллективизацией. А Ганька-брат не расставался с энтузиазмом. Работая санинструктором на Горьковском автозаводе, он кончил-таки рабфак при пединституте и поступил на исторический, переманив к себе меня. И тут он был руководящий, управляя студенческим профсоюзом и, чтоб равнялись по нему, объявил себя добровольцем на финскую войну. Там и сгинул за двенадцать дней до перемирия. Учась в этом же институте, я полгода мог еще видеть фотографию брата в черной рамочке и от тоски скоро уехал в Сибирь.

Да! Этот энтузиазм, великий заряд веры, подаренный Октябрем и так безалаберно разбазаренный в первые же послереволюционные годы. Порывы такие

горели в большей части нашей молодежи, с годами тлели и обращались в прах. Иные, менее разумные, как медаль, носили это чувство до седины и до гроба, хвастались им, бог знает зачем.

А ведь были в коммуне и иные люди. Не энтузиазм, а другие, до поры неясные, спрятанные цели, а может, закоренелые пороки повели их в коммуну. Первый из них — заповедь лоботряса: а бы так прокормиться. Степан Титяков с Власьевной привели за собой табун детишек. С ними по родству (братец Власьевны) вошел в коммуну единственный коммунист села Егор Ястребов с женой Марией и ребятишками. Вошел в коммуну и Алешка Бачурин, потому что дома отец с матерью заставляют работать. Гришка Возков записался от отчаяния: давно он землю пустил в залежи и бросился стегать реку удилищем, забыв, что никого она не спасла от недостатков. Как-то скоро они поняли друг друга, а поняв, приутихли, стали равными среди общего энтузиазма. А потом поперли в начальство. Степан стал завхозом, правой рукой Ганьки. Алешка заделался кладовщиком. Гришка завладел столовкой, а Егор Ястребов определился общим идейным руководителем. Зародилось, так сказать, дитя, молчаливое, но и упрямое и дотошное, которому через десять—пятнадцать лет быть должно добрым молодцем-бюрократом, карьеристом и расхитителем. Они и иные мужички скоро поняли, что в коммуне можно не работать, а умно рассуждать, размахивая руками, заседать и решать, приучаться помалу к политическим лозунгам и пока робкой демагогии. А глядя на них Иван Никитич взялся за метлу и добровольно определил себя подметалой двора. Петр Филиппович напросился быть ночным сторожем коммуны, потому что в фантазии руководства обозначился «враг», дабы не стряслось что с добром, которого по сути — еще не было. Так вот все мужички и рассосались по малым должностям и чинам, и оказалось, что в поле и на сенокосе без пригляда старших работали ребятишки, работали как на душу положит, сбивали плечи и спины лошадям, выводили их из строя, кормили как попало, сами кормились в общей столовой, все больше лапшой да лапшой, сваренной раз на молоке да раз на воде. Ум, крестьянский опыт, отдача всего себя земле, совесть и чистота души остались за пределами коммуны, а потом и развеялись по городам и стройкам, изолировались по далеким лагерям, а зачинатели великого опыта, развеяв одно, вернулись к единоличникам и принялись строить колхозы, то есть разваливать остальное. А как же иначе? Они для города были уже умельцы в строительстве социализма.

Как круто ломалось все прежнее — церковь, семья, хозяйство — так круто менялся человек. А что об этом есть в деревенском музее? Это мы спрашиваем не Перетолчина, не Нефедьева из Хомутова, спрашиваем сами себя.

Нет ничего о коллективизации на стенах музея, да и что они могли принести сюда, чем это время обозначить? Разбитым хомутом, волосяным путом, который губил ноги коня, морскими травяными вожжами, развалюхой-телегой с тяжем веревочным, да тяжем проволочным? Разве посмели бы Перетолчины повесить фотографию обшиньганного, без амбара, сарая и скотника крестьянского дома, картину доморощенного художника, на коей была бы изображена искореженная и обруганная церковь? Ни единого спасенного колокола, ни единой иконы. Может, можно было бы вывесить галерею колхозных председателей, из которых, пожалуй, Франс Иванович Галзицкий да двое-трое других заслуживали достойного внимания. Остальные были или бестолковые невольники чести или хитрецы и лукавцы с тайной мыслью поживиться, подармоедничать и покомандовать мужиками и бабами. Если бы какому-то талантливому писателю удалось написать портреты двадцати, тридцати председателей, каких посчастливилось увидеть каждому среднему селу, была бы великолепная галерея лжецов, страдальцев, мучеников-правдолюбцев, бабников, просто актеров, которые без веры разуверились и в дурные спектакли обращали жизнь. Словом, они поневоле обнаруживали свои дарования на крестьянском безмолвии и апатии, когда каждый из подвластных пополз кто куда, как из муравейника, на который плеснули ковш кипятка. Что же оставалось

делать крестьянину, у которого отобрали горбом добытую землю, нажитую скотинку и разную пристройку? Малое, крохотное, но добро, за которое он держался и которое приносило ему радость, заботу и даже счастье. Что же осталось ему, малограмотному, но умом природным постигшему, что пришла беда, что спасайся от нее кто как может, артельно же спасаться запрещено. Это же крестьянское безвременье было началом экологического разбоя. Разбоя в природе и в душе — одновременно. Вспоминается любимое изречение Кирьки Ждаркина из панферовских «Брусков»: «Пей — гуляй, однова живем!» Да, тут корни наших экологических бед. Зачем надо было до колхозов идти на вольную природную живность, когда для потребности своей и городской хватало скотинки и птицы на дворе? Охота была делом одних охотников, а в каждом селе их было двач-три, не более, да и тех называли бездельниками и пустыми людьми, которым день проводить что пень колотить. Что же оставалось делать нашему сибирскому мужику при пустом дворе и в нищенском колхозе? Надо было есть самому и кормить детишек. И ринулся человек на природу, вооружившись ружьем, сетью, спиннингом и разными другими хитроумными средствами истребления всего живого в реках и лесах, вовсе не думая о том — прибавляется или убавляется в них от его непомерной активности. И егери, и вся природная охрана понимали этого нового человека и у них рыльце было в пушку, и им надо было кормиться. И получилось теперь — «Бей, стреляй, однова живем». В наших сибирских условиях, когда пока есть реки и леса, ничего другого и придумать было нельзя, кроме как кормиться рекой и тайгой. Вспоминается случай. Городской незнакомый человек поймал несколько харюзков, и вот тебе егерь, отважный и преданный своему делу. Орленок Петр Филимонович. «Как ты смеешь ловить рыбу в запретное нерестовое время?» Рыбачок тихим и ровным голосом ответил: «У меня четверо детишек. Их чем-то надо кормить». Орленок было поднял голос, но тот таким же ровным голосом послал его к матери. Егерь был умный человек и оставил того. Какая-то правда слышалась в тихом голосе рыбака. Но ведь этот разбой при нашем нищенстве длился не год и не десять годов, и не одно поколение приловчалось грабить природу, и столько же лет мы воздвигали в себе равнодушие и безразличие, понастроили баррикад против совести и душевности своей. А потом пошли в наступление, вооружившись не только ружьями и сетями, а бульдозерами и бензопилами, взрывчаткой и электросетями, гравиечерпалками, драгами с одной целью — варварской — убавить и не прибавить.

Наше желудочное нищенство обратилось во всегосударственное истребление природы. Кто-то скажет: вовсе не из этого выросло варварство. Каждому вольно думать по-своему. Я вижу его истоки в наших продовольственных нехватках, а временами просто в голоде. Голодный человек или недоедающий обозлен и, не могущий сорвать свой гнев на устройстве жизни, мстит молчаливой природе.

Нет в музее того трехсотграммового пайка, какой он, труженик земли, получал в войну. Никак не обозначен знаменитый, «пустопорожний трудодень», только торчат в памяти слова кормчего: «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи». В войну мы двинулись по нашим весям и городам посмотреть, какая такая веселая жизнь пришла в эти первые десять лет колхозной жизни. Вот она всеизвестная Орловщина по Тургеневу и Лескову: куда солдат не войдет, из всех щелей ползет нищета. Была ли она такой при нэпэ? Хлеб, если только удавалось его увидеть, пополам с мякиной и черней земли. Зыбкий пол, узкие окна, клопы и тараканы, изможденные лица.

Редко у кого на дворе коровенка или коза. Не одна же война принесла эту привычную бедность. А вот Украина. Сорок с лишним лет не выходит из головы увиденный контраст. Пока воевали на Киевщине, Житомирщине, видели ту же солому на крышах, низкие подслеповатые хаты, глиняные полы, ветхие плетни, бедные одежды. Но вот едва протащились по Шепетовке, утопающей в грязи, по последнему весеннему бездорожью, миновали жиденький песок и на заре оказались на старой границе. Предрассветной порой мы не могли понять,

что такое видится с нашей высотки — озеро не озеро, беселый туман не туман. И только как рассвело, поняли — виделись нам цинковые крыши большого села, а как въехали в него, с завидкой заглядывали на высокие дома с широкими светлыми окнами, полными цветов. Был праздник, церковное шествие остановило наш полк, и мы, завоженные украинской грязью весны сорок четвертого, глядели на гордых и независимых людей, нарядно одетых, со множеством хоругвий и икон в руках, живущих какой-то забытой нами дооктябрьской жизнью. Вспоминаю, насколько мы были жданными и желанными для людей Восточной Украины, и как не замечали или косо поглядывали на нас в Западной.

Опять-таки для контраста вернусь к нашей довоенной поре. Учительствовал я в одном из южных районов Горьковской области. Заболел мой товарищ, и пошел я по будаскому* селу с красивым названием Красная Поляна поискать что-нибудь вкусное и колоритное для поддерживания здоровья человека. Ни мяса, ни сала я, конечно, не нашел. Боялись люди показаться с добром перед страшными и беспощадными уполномоченными и заготовителями или, верно, не имели ничего, мне в «существенном» отказывали. Я надеялся, что в яблоках не откажут, да и на дворе была осень. Вот что я тогда записал в свой дневник: «Стоит нахохлившаяся старенькая избенка. Вхожу. За столом семья без мужика, хозяин в городе на заработках.

— Здравствуйте!

— Проходи-ка.

— Яблоки продаете, бабушка?

— Что вы, что вы! Какие яблоки? У нас и саду-то нет.

Смотрю на стол.

— Смотришь, что едим? Во глянь, черней земли. Хлеба-то тут и десятой доли нет. Слава богу, картошка, а яблоки-то сами давно не ели. А сходи-ка к Тюриным. Вон за сельсоветом, ай к Бозниным, трошки дальше. У них, може, есть.

Я попрощался и вышел из избы, осторожно ступая по полу, какому-то жидкому, такому, что казалось — печка качается, вот-вот упадет.

У Тюриных хозяин дома.

— Здравствуйте. Яблоки у вас есть?

Сам молчит, говорит хозяйка.

— Какие теперь яблоки. Были. Были до последнего время, да продали усе. Нету-ка нисколько.

Сам был в армии, разговорились.

— Где же мне яблок найти? — сокрушаюсь.

— А сходи к Бозниным. А уж больше не знаю где.

Подхожу к хате, крытой соломой. Крыша провалилась. Конек откачнулся вперед, окна зияют дырами.

— Где хозяин?

— Хозяин-те? Он тут и не живет, — отвечает баба, убирающая картошку, — а может, Верку спросить, Вера?

Баба вылезает из-под горки с мешком свеклы на плече.

— Чего тее?

— Яблоки есть?

— Нетути. Какие тут яблоки. Ты ошибся, сад этот не мой. Вон его хозяева.

Иду по грядам к хозяевам.

— Яблоки есть?

— Да ты чей?

— Я учитель.

— Ай, батюшки! Ай, ай, ай! Яблоки, говоришь. Яблоков нет. Все черви съели. А вот я крикну Марьку. Марькоу! У тее яблоки есть?

— Да моченые есть. Моченых могу.

Мне моченых не надо, я иду к следующей избе. Живет в ней бабка Катя и слепой старик. Старик плетет лапти. Кругом грязно, черно.

— Яблоки, деда, есть?

— Чего-о-о?

— Яблоки?

— Какие яблоки, — дрожащим голосом отвечает он. — Вон у старухи спроси. Мы живем отдельно. Под старостьто».

В селе, некогда изобиловавшем всяким добром, яблок я не нашел! В войну человек наш жил впроголодь и только в силу великого терпения, осветившего душу патриотизма вынес все и одолел противника. Один короткий век обозначился тремя великими озарениями народа — первой мировой, гражданской и Отечест-

* Будаки, будники — бедные майданные крестьяне (*Словарь В. И. Даля*).

венной войнами. И кажется, ничему наш народ не научился, кроме как способам выживания, изворотливости, а после третьей — уклонениям, маскировке, лукавству, показному трудолюбию на колхозных полях и изнуряющему и спасительному труду на своих сотках, ровно вспомнила душа народная о крепостном праве столетней давности. В ту пору русский народ бросился в Сибирь, скрываясь от крепостничества. В нашу пору бежать было некуда, и он рассасывался, рассыпался среди наций южных, западных, уходил за полярный круг, забывая помалу, что он составлял единство, называемое русскими, теряя чувство национальной гордости, воли и независимости. И какая воля, если ты живешь по законам другого народа. Как верно почувствовал состояние русского человека узбекский писатель Пулатов:

«Русский человек еще со времен, описанных А. Платоновым в «Сокровенном человеке», кочует по всей стране в поисках пристанища. Русского крестьянина раньше и сильнее, чем у других, оторвали от земли-матушки и пустили по миру. Все люди привержены к своим очагам, и когда возродится русская земля, ее веси и города, отпадет проблема миграции».

К сожалению, в музеях наших все еще висят стенды, рисующие наши дни от года «великого перелома». Тут есть портрет зачинателя сплошной коллективизации, и первый председатель колхоза, и фотография ударника-колхозника, и галерея почетных граждан сел. Были, конечно, были и в эту пору труженики и свои герои, не иссяк полностью дух народный и в ту пору. Но где же тот деревенский музей, в котором бы отразился тяжкий путь раскрестьянивания, та полоса деревенской жизни, которую можно назвать всеобщим медленным старением.

Все подвергалось старению: дом и все постройки вокруг него, улицы и переулки, прясла и заборы, колодцы и ручьи и, конечно, конечно, земля. После «сплошняка», как в насмешку и тайно называли те года, пришел и «перелом» в жизни крестьянина, только он принес самую худшую пору не на одно десятилетие. Вспоминаю, когда я ребенком возвращался в родное село после нашествия колчаковцев. Окна в февральскую пору были распахнуты и без стекол, половицы ворот сорваны и сожжены, сожжены и многие дома, в избах стужа, картошка съедена или заморожена, лошади угнаны, скотина побита, одни кишки валяются среди дворов. Правда, медленнее, но что-то подобное виделось после трех—пяти лет нового хозяйничания. Как говорят, опустились руки у мужика. Не было желания поправить крышу, прясло, подмести улицу. Раньше было правилом сибирской крестьянки вышаркать стены дома до восковой чистоты. Это делалось ежегодно перед пасхой, и не надо никакой краски — чисто, красиво, светло. А в новое время дом родной стал как чужой и все чернел и чернел, и в некую пору все село стало выглядеть грязным, неприбранным. И если со временем внутренняя сторона дома обуютилась, то так и остались люди безразличны к внешней жизни. Дома вросли в землю и покосились, многие стоят заколоченными, многие просто отданы стихии непогоды и гниют и разрушаются и растаскиваются по доскам и плахам скорее на дрова. И если где-то появится свежий новый дом, то он выглядит заплаткой на старой рубахе, да и тот ли это дом, какой строился раньше — с резными наличниками и ставнями, с кружевами карнизов, с широкой четырехскатной крышей. Нет, это бесцветное сооружение барачного типа, благо, есть теперь чему поучиться у города. Редко у кого стоят ранешние добротные на лиственничных столбах ворота, да и некого им защищать, коров-то у половины нет, кур и уток поголовно вывели и ведрами теперь везут яички из города. Правда, с великим опозданием стены в ветхих домах принялись красить, но это все равно, что запудривать морщины на старом лице. Но как ни старо, да свое жилье. Все же то, что было общественным раньше и что появилось вновь, стало не только чужим, но и презренным. Усть-Кудинская церковь сначала была деревянная. Лет за сорок до поселения в наших местах декабристов на красивом месте, откуда открывается огибающая село Ангара, воз-

вели каменную церковь. В ту пору пришла в ветхость Иркутская Георгиевская церковь. Ее разобрали, а иконостас, богатый и красивый, передали во вновь построенную Усть-Кудинскую. Можно думать, что и братья Поджио и Муханов, и семья Волконского со своими гостями-декабристами много раз побывали в этой церкви, стояли и молились в ней вместе с гражданами села. В ней отмечались престольные праздники, крестилась, венчалась и покоивалась, может, не одна тысяча сельчан. Звон колокольный оповещал о бедах и радостях народных. А сколько людей увела она от лютости и злобы к добру и душевному покою. Видимо, вот такая добрая рука робко и неумело вылепила на карнизе душевный вензель: «Сия церква начата 24 числа июля месяца 1802 года. Святая свети». А в центре три буковки заглавные, письменные, неуверенно вылепленые — ТКП. Я по-своему разгадал смысл их — в нашем селе в старину проживали главным образом Третьяковы, Корщуновы и Поповы. Они-то, видимо, и поднимали своими силами церковь.

В двадцать девятом году арестовали священника. Помню, девять сограждан поехали выручать его. Надо было переплыть Ангару и успеть на поезд. Я спешил на учебу и пристроился к ним. Перегруженная лодка перевернулась, и все мы оказались в воде. Никто не утонул, но будто сама природа подсказала: напрасны хлопоты. Церковь закрыли, колокола сбросили, и наступила пора полного ее расхищения. Сперва сделали из нее телятник. Потом обратилась она в зернохранилище, потом и на это она стала непригодной, и потащили из нее доски с пола и потолков, стекла и рамы, иконы пригодились на столешницы. Сломали ограду и вырубили парк. Из нескольких сот деревьев чудом уцелел десяток. Ездят городские художники и рисуют церковь, торопятся в предчувствии, что скоро конец и этим остаточкам. А как надо было оживить церковь — ведь ничего красивее так и не сделано за все семьдесят лет.

Может быть, создатель музея Н. В. Перетолчин и думал о земле, но не знал, как, в каких таблицах и диаграммах отразить состояние ее.

Я тоже не имею перед собой цифр, но кажется, достаточно мне и одних наблюдений за десятки лет. За всю бытность колхозов урожай хлеба все в одной мере — 10—15 центнеров с гектара. Многие годы были ниже, единичные случаи — выше. Как правило, заканчивали уборку, когда уже валил снег. Как правило, сено убирали перестоявшее. Картошку своими силами убрать не могли, а шефы половину оставляли в земле. Если удавалось колхозу собрать огурцы, сдать их или продать на рынке, как правило, они были грязные и переросшие. Горы навозу годами накапливались подле ферм, а землю кормили химическими удобрениями — и что же? Урожай оставался на том же месте. В Сибири восточной, плоскогорной, гумусный слой тонок, но пахать заставляли на добрую глубину, и пройди сейчас по полям, они выглядят желтыми от вывороченной глины. Привозные удобрения почти не улучшат, они кое-как поддержат урожай. А задумывался ли кто о химическом составе зерна, картофеля, огурцов? Но все это не зависело от рядового работника. А каким стал он? В нем окрепло безразличие и равнодушие к процессу крестьянского труда. Он спокойно с мешком картофеля уедет на базар, наблюдая из автобуса, как сотня, другая городских людей копошится на поле его колхоза. Он забыл видеть беду в том, что в поле под дождем гниют вороха хлеба, куки картофеля, огурцов, на лугах гниет скошенное сено, на скотнике коровы стоят по колено в грязи, гибнут телята. Все это стало для него обычным и привычным, даже при хорошей зарплате. Умерла тревога, печаль, душевная забота. Пришло то, что нынче мы называем раскрестьяниванием.

Но, может, что-нибудь, хоть маленько осталось в человеке крестьянского? Так ли уж он потерян и опустошен? Вся ли земля страдает, как страдает колхозная земля? Теперь забота деревенского жителя обращена на малый клочок земли, который находится за задней калиткой дома. Весь навоз от собственной коровы идет на этот клочок, а мало, так и колхозного прихватят. Зародился этот клочок давно, до войны. Он и до колхозов был для крестьянина крайней выручкой,

а в пору колхозную стал единственной надеждой. Правда, для картошки землю давали там и сям, и каждый год в новом месте, да и вспашут ее для единоличного пользования в самый поздний срок. Надежды на нее, изнуренную, было мало. Зато вся любовь, все заботы и печали, все мечты и планы сходились на этом клочке за калиткой. Тут крестьянин оживал и спохватывался.

Тут и поиск лучших семян и лучшего времени посева и посадки, тут усердная поливка и прополка и разные подкармливания, прогревания. И теплицы-то какие рамахнули, иная и колхозной не уступит. На каждом таком участке журчит день и ночь электрический насос. Никто не мерил этих урожаев, но одно известно: они неизменно велики. Для картошки хоть и сменная непостоянная земля, но ухоженная, вовремя прополотая и окученная, посаженная пророщенными семенами, подкормленная доброй горстью перегноя, она позволяла засыпать в подполье сто, у иных и полтораста мешков. Но огурцы, помидоры, лук, морковь давали дивные урожаи, и если бы какой-нибудь колхозный главбух попытался их подсчитать и сравнить с колхозным успехом, отличалось бы все как небо от земли. Страшно, опасно подсчитывать эти два урожая. О них лучше молчать. Но как долго молчать?

Не говорит ли это нам, что все успехи сельского хозяйства исходят только из интереса, что любовь к земле — это прежде всего материальная заинтересованность работать на ней, что вся радость, а отсюда и любовь к земле — так угоять, так обласкать ее, так взлееять, чтобы она ответила на заботы добрым урожаем. Никакой другой труд не близок так к творчеству, как земледелие. Как поэт или музыкант, крестьянин прислушивается к земле, открывает ее дыхание, волнуется за ее и свои успехи, ждет осени — оценки всех стараний.

Земля заставляет думать о ней день и ночь и в думах слагать страшное и удивительное даже в наше прагматическое время: трепетное ожидание дождя и боязнь града, щадящего, но и щедрого тепла, горечь поздних весенних и ранних осенних заморозков, видение урожайного волшебства. Тысячи картин посетят человека, пока он ждет плодов своих.

И что же удивляться, что на колхозных полях не стало песен, сказок, частушек, если крестьянин в массе своей оторвался от повседневных хлопот и раздумий, идущих от земли, если он стал холоден и безразличен к обширным колхозным полям.

Нет, поправлюсь я, есть мера урожая малого закалиточного клочка земли, и она особенно видна на городском рынке. Колхозы настроили было ларьки, заторговали было грязными огурцами и такой же картошкой, лохматой капустой, зелеными помидорами и скоро бросили, и пустуют второй год ларьки. Был всплеск, была кампания и кончилась. А крестьянин с малого клочка земли возит да возит в полкулях урожай свой круглый год, покрывает половинное потребление города в картошке и других овощах, да овощи-то любо в руки взять: чистенькие, помытые, без порчи и гнили, взвешенные с «походцем».

Дороговато, верно, но пойди в магазин и купи там, купи картошку, например, которую под грязью не разглядишь, а дома помоешь и увидишь, что она в язвах, разрежешь, она почерневшая от щедрот нитратных. А что же такое этот клочок приусадебный, на котором трудится человек день и ночь? Не прародитель ли это семейного подряда, не фермер ли это крохотный, вечный, надежный, живучий, рожденный и окрепший в тяжелую годину колхозного лихолетья и переживший всякий гнет — налоговый, заготовительный и «жив курилка», кормит народ не одно десятилетие. Отчего же мы не можем понять многие годы, какие силы живут в этом клочке? Отчего мы вечно боимся, «как бы чего не вышло, как бы чего не случилось», как бы из этого крохотного хозяйства не вырос «эксплоататор» и не посягнул на социализм.

Почему Ленин сразу после революции не побоялся этого «эксплоататора» и за первые три года нэпа вывел страну на уровень 13-го года. Это в пору, когда в деревне жило 80 процентов населения страны и страшновато было отдавать сельскую власть в руки «буржуйские». Чего же нынче-то видеть врага, когда вся политическая сила перекочевала в

город, и он, социалистический, станет мощным стражем над частным сельским обогащением. Самый страшный наш враг — затянувшееся на многие десятилетия продовольственное затруднение, будто кому-то надо держать народ в полуголоде. Эта мысль напрашивается.

Держать народ в пищевом дефиците — означает отвлекать его от других важных и насущных интересов — ведь не единым хлебом сыт человек.

Подумать только — годы и годы, три—четыре поколения людей только и думают о куске хлеба и мяса; со страниц газет и журналов, по радио и телевидению только и разговор об урожае и молоке, о доярках и трактористах, и первые страницы всякого издания кипят горячими спорами о том, чем набить желудок человека. Об этом можно говорить год — два, если пришла трудная година. Но не век же целый. И главное, есть силы в народе, которые без газет и радио, горячо примутся за дело и в короткое время без понуканий и надзирательства выправят дело с продовольствием. Только оставь страхи, которыми нас питали так долго, и помоги этим силам, дай им в руки землю, снабди удобной, экономной для их малого хозяйства техникой, открой для них вольный рынок или собери добытое добро кооперативом. И позаботься, наконец, о душе человека.

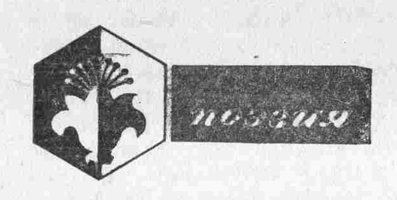
Деревенский музей как раз и создан для души. Спасибо великое всем Перетолчиными, Нефедьевым, что сберегли они старину деревенскую, доколхозную. Есть от чего вздрогнуть сердцу, есть чему поклониться, есть что и повспоминать. Но чем дальше мы двигаемся к нашему времени, тем стенды беднее, густота предметов пропадает, а то и просто выпадают большие куски жизни, будто собиратель музея растерялся и не знал, чем заполнить многие десятилетия. А чем же их заполнить в самом деле? Не потащишь же в музей железные детали трактора или комбайна. Есть две—три фотографии ударников, есть диаграммы роста сплошной коллективизации, первые трактористы. Просится на это место знаменитая ручная мельница, жерновок малый, размалывавший украденные в поле колоски и злыдни, полученные за пустопорожний трудодень. Такая мельница была в каждом доме да через дом. Но как ее поставишь на это место. Раньше ее не выставили из-за боязни опорочить, осмеять счастливую колхозную жизнь, а теперь дело прошлое. Стоит машина самодельная по очистке гречневой крупы да самодельная картофельная терка, но они были известны при нэпе. Что же касается быта, развлечений, игр, интересов, праздников, спектаклей, всякой прочей самодеятельности — этой стороны жизни народной в музее вовсе нет, и это не случайно. Может, что-нибудь и нашел бы собиратель, но как же можно было говорить про веселье, когда висела над душой вечная забота о куске хлеба? Собраний, заседаний, ударных месяцев и недель было хоть отбавляй. Были по-казенному сделанные смотры, выезды в природу, приедет артист, город-то ведь рядом. Но и на смотр, и на артиста придет кучка шалунов, а коренные работники лишь доберутся до дивана и вот тебе с экрана Ульянов и Лавров, Нестеренко и Образцова и потешат и развеселят, осталось только зевнуть и спать ложиться. До войны и сразу после нее люди еще пели песни, правда, стыдливо, в избе, боже упаси, пройти с песней по улице. Не забыли десяток-другой частушек девичьей поры. Но куда же подевались горячие сочинительницы их? Ведь ранее их было в запасе у каждой девчонки по сотне, иная знала тысячу. Парни-то выбирали ту, которая хорошая песенница, значит, веселая, богатая. Табун парней и девок шарахался из края в другой край деревни, заслышав игру ловкого гармониста. Но и гармонь с балалайкой ушли в избу. А хороводы, игра в лапту, в свайку, в городки исчезли с первыми днями коллективизации, и улица опустела. Одни песенницы уехали в город, других увезли далеко, оставшиеся приутихли и загорюнились. «И кому же в ум пойдет на желудок петь голодный?» Кончилась свобода труда, кончилась и песня.

Когда я вхожу в деревенский музей, невольно меня охватывает поэзия сельской жизни, будто я возвращаюсь в детство и юность, будто вхожу в родной дом, который от музея — рукой подать.

И путь меня простит собиратель его Николай Владимирович Перетолчин, ныне заслуженный работник культуры. Я вовсе не хочу расставлять экспонаты музея по-своему или внести что-то другое. Боже упаси! Не о том я думал, когда написал вначале «что есть и чего нет в нем».

Просто какой раз меня толкает музей на раздумье о времени, о судьбе села, о строгом человеке, который десятки лет живет любовью и памятью о селе. А чего нет в музее, того, может, и не надо: или то было короткое и мимолетное время, каким был золотой миг нэпа, или то было долгое и неблагодарное время, потерянное напрасно, каким была колхозно-совхозная жизнь. Потому ее и мало в музее, что ничего не оставила после себя доброго, наоборот, загубила высокую нравственность человека, разрушила национальную культуру, именовавшуюся совсем недавно «идиотизмом деревенской жизни». И все-таки мы, полюбовавшись музейным прошлым, уходим с мечтой о будущем. Оно светло. Оно манит, и не видится ли оно в крестьянском личном хозяйстве, как бы мы ни называли его: фермер, дачник, подсобное хозяйство, семейный подряд или еще как. По опыту истекших десятилетий иного нам не дано. Не хватает лишь решительности и смелости круто повернуть в эту сторону.

Март 1989





Григорий **ВИХРОВ**

РОДНАЯ КРОВЬ

□ □ □

Я из молитвы матери иду,
Слова забыв, к великому стыду.
В каком году отплачу, отпирую,
Освобожу сорочку роковую,
Освобожу, а ближе не найду.

Никто не знает по моей вине
Твоей судьбы, доверенной стерне,
Осеннего, тускнеющего луга.
Ты, кровь моя, советчица, подруга.
Пойди назад, вернись, поведай мне

Молитву сильной матери моей,
Однажды победившей страх распада
И вынесшей на голоса людей
Молитвою разбуженное чадо.

РОДНАЯ КРОВЬ

Отчество приблизило отца,
Привело и рядом удержало.
Столько лет на памяти лежало
Тенью незнакомого лица.

Давнего, размытого во сне,
Выцветшего, стершегося... Что же
На твое лицо мое похоже,
Оттого и незнакомо мне.

А мечталось — матом обложу,
Попрекну, до правды докопаюсь.
Ничего такого — улыбаюсь,
Говорю и слов не нахожу.

— Дожили до радостного дня...
Источая робкое сиянье,
Кровь родная узнает меня.
Тягостно и сладко узнаванье.

ДЕТСКИЙ ДОМ

В детском доме Каины и Авели,
Спаяны в сердечный коллектив.
Древнюю историю исправили,
Грех братоубийства осудив.
В райской спальне с номерными койками
Плачут в голос и зовут домой
Милостивцев, сваленных попойками,
Съеденных болезнью и тюрьмой.

Удержи, душа, в ладонях выжженных.
На глазах небесных и земных
Трудновоспитуемых, обиженных,
Страждущих защитников своих.
Ты сама сестрою беспризорною
Маешься без отчего жилья,
Одари их радостью просторною,
Бедная заступница моя.

ТРИ ЛЕСА

В лесу березовом женюсь — невеста хороша.
В лесу сосновом помолюсь за здравие жены.
В лесу еловом удавлюсь, и вот она — душа,
Последние слова ее слышнее тишины.

Как над лесами полетит — исполнится небес.
Как в лес березовый сойдет — на дочку поглядит.
Как в лес сосновый забредет, и улыбнется лес.
И лес еловый посетит, а кто ей запретит.

Спасибо белому теплу — семейному столу.
Спасибо божьему лучу — сосновому стволу.
Спасибо ели молодой, хранящей в глубине
Мой стон смолою золотой...
На память обо мне.

В ЗАРУБЕЖНОМ ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ

Слезами изгнанников Богу расскажем
О страждущих людях в Отечестве нашем.
Поведаем Богу, напомним себе
О черной чужбине и общей судьбе.

О ней за столбами пылающей пыли
Молчали, болтали и думать забыли.
Разбитые станы. Разбитые храмы.
Там «белые гады»... Там «красные хамы».

Любимые братья, любимые сестры,
Рождаются дети, рождаются сосны.
У нас разлученных на долгие дни
Молитвы созвучны и думы одни.

О Славе и Боли согласно расскажем.
И Богу? — И Богу. И правнукам нашим.
Воскресную силу любовь обрела.
Россия, страстная неделя прошла.

МОНОЛОГ ОФИЦЕРА. 1938 ГОД

Из окопа до погоста
неспроста дойти непросто.
Неухожены, немилы
офицерские могилы.

Подорожная бумага
не востребует из тьмы
в лапы славного Гулага,
в пасть великой Колымы.

Путь геройский,
путь недолгий
побежденному знаком.
За эмалевый «Георгий»
и за шашку с темляком
отвечать — святое дело.
Белым дымом вьется тело.

Вспомнят верные враги
ровные мои шаги.

Что ж вас меньше год от года,
пролетарии всех стран?
Нынче все враги народа —
из крестьян ли, из дворян.

Выходцем из преисподней
не побрезгует ЧК.
Заслоню собой сегодня
вашего... большевика.

Грудью, раною незримой
верного судьбе спасу.
И смиренно понесу
крест российский... неделимый.

РОМАНС

На жар печной последних георгинов
Не нагляжусь из белого окна.
Не нагляжусь и белый свет покинув,
Пусть жизнь одна и молодость одна.

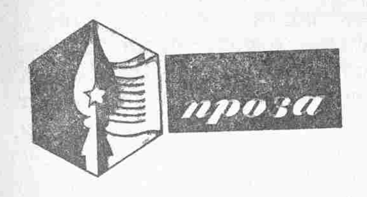
Не торопись, родная, изъясняться
На языке прощального огня.
На долгих стеблях лепестки теснятся,
Ни для тебя они, ни для меня.

Все тяжелее осень и старее,
Все неотвратней чувствуя вину.
И я тебя, как молодость, согрею...
И я тебя, как молодость, верну.

Не нагляжусь и белый свет покинув,
Пусть жизнь одна и на двоих одна.
Живой очаг последних георгинов
Запомнил нас у белого окна.

Григорий Иванович Вихров родился в 1961 году в г. Коломне Московской области. Живет в Иркутске. Публиковался в журнале «Литературная учеба», еженедельниках «Литературная Россия», «Литературная газета», в коллективном сборнике «Ранний рассвет», альманахе «Поэзия». Автор книги стихов «Мои дорогие».

На 9-ом Всесоюзном совещании молодых писателей в Москве (состоявшемся в мае 1989 года) принят в члены Союза писателей СССР.



Василий **БУТОВЕЦ**

ПОТЕХА*

ПОВЕСТЬ

Да нет, он просто растерялся и говорит не подумав, сообразил Мосалов.

— Ты, насколько я слышал, собираешься на ней жениться.

— Кто сказал?

— Она говорила.

— Прямо так вам и говорила?

«Вам» — открыло его характер дисциплинированного, послушного на работе парня, который не перечит начальству, никогда не позволяет себе становиться с ним на равную ногу, всегда знает свое место. Даже вне работы таких, как Мосалов, который по виду похож на начальника, он называет на «вы».

— Она просила, чтобы я ей не мешал.

— Ну и ладно... Все, что ли?

— Ты понял? Это мой сын, не заблуждайся на его счет...

Николай порывисто встал и торопливо вышел из столовой. Мосалов наблюдал в окно, сколько позволяла его незаиндевелая часть, как он шел к машине, будто опаздывал. Как садился и уезжал — того уже не видно было.

Когда Мосалов вышел на улицу, возле «Позной» стояли только его «Жигули». Он неторопливо осмотрел колеса и не спеша сел в машину.

Пусть соображает, что делает, спокойно и насмешливо думал о Николае. Чувствовал физическое (у него всегда с этого начинается) и моральное превосходство над этим сопляком. Откуда он взялся? Он чем-то похож на Олега, и это еще больше раздражало Мосалова.

А между тем полного удовлетворения не ощущал. Он ничего не добился, кроме того, что предстанет в глазах Семеновых подлецом. Они могут, если этот чудак все же наберется ума и откажется от Жени, не пустить Мосалова к сыну.

Вспомнил выстрел, которым уложил косулю. И там ему ничего не оставалось и здесь его вынуждают обстоятельства. Иначе он поступить не мог. И там было неприятно, до сих пор вспоминается ее взгляд, и здесь он чувствует себя отвратительно, будто только что ружье опустил.

Можно оправдываться тем, что Женя тоже жестоко поступает, не желая признать, что Лешка его сын.

И потом, он в конце концов не врал, сказал этому чудаку правду. Безжалостную, но правду.

Жалость. Он накануне размышлял о ней. Что она — тормоз или прогресс?

Почему его никто не пожалеет? Никому не горьки так твои беды, как тебе самому.

Женя думает только о себе, его печали ее не тревожат. Когда сказал, что у них с Тоней нет детей, насмешливо посочувствовала — бедняги.

Сочувствовать, жалеть, щадить. Жалость нужна в отношениях человека с человеком. Человека к зверю...

* Окончание. Начало см. Сибирь, № 5, 1989.

А здесь зачем нужна жалость, если косуля — пища для человека?

«Жалость нужна сдерживать человека, чтобы он бездумно не уничтожил все вокруг. Ведь он всесилен. Для него ничего не стоит смести с лица земли все живое. Жалость — прогресс. Она, в отличие от животных, появилась в человеке не зря. Это новое качество, регулятор отношений...»

Мысли эти не его. Он их от кого-то слышал или читал. Может, тот же Олег болтал. Он мог философствовать. Но Мосалов с этим не согласен. У него своя точка зрения на «регулятор отношений».

Каждый в первую очередь думает о себе. А за кого-то решать чьи-то проблемы, соучаствовать в них — это все из «газетной жизни». К этому призывают статьи на моральные темы, которые, кстати, так умеет стряпать Олег.

В жизни, как в природе, все проще. Косуле даны быстрые ноги, чтобы спасалась бегством. Не сумела, не уберeглась, пеняй на себя.

Женя хотела надуть шофера, не получилось — пеняй на себя.

Он, Мосалов, не сможет отвоевать сына — никому не пожалуешься, никто не поможет.

Все элементарно. А жалость — это женское чувство. И вообще, глупое чувство.

Дорога стремительно неслась навстречу и исчезала под колесами. По сторонам плыла тайга медленно, тяжело покачиваясь. Она уже давно вплотную подступила к дороге и так и не отойдет до самого города.

В Кырме соединились две жизни. Местная, сложившаяся на протяжении многих лет, которой жила таежная деревня, медвежий угол, затерявшаяся вдалеке от центров и городов. В этой жизни были свои законы, свои обычаи, традиции, свои беды и радости.

Другая жизнь просачивалась сюда по асфальтированной дороге, что пересекала деревню и уходила дальше. И хотя тут редко кто останавливался, все равно что-то заносилось из той далекой жизни городов, центров и столиц, из того цивилизованного мира, от которого Кырма так далеко находилась.

Остановится ли автобус, выйдут пассажиры, сломается машина, устанет ли шофер, отвернет в сторонку, посидит на лавочке, приедут ли по этой дороге за ягодами и грибами из областного центра или другого города; на охоту — все что-то везут с собой из той жизни, которой живут там, в своих городах и центрах. И люди Кырмы, сами того не замечая, перенимают это «что-то», заражаются им.

Женя, как все молодые, была восприимчива к тому, что заносилось по этой ниточке, связывающей белый свет с Кырмой. Мечтала, как о прекрасном, о той жизни, откуда только отзвуки долетали до Кырмы.

После восьми классов решила поступать в лесной техникум. Мать было завозражала, но Женю поддержал Иван.

— Пусть поступает, Привалихина заменит, — пошутил он. Привалихин — лесничий Кырменского лесничества, где Иван работал лесорубом.

— Ну если так, то можно и разрешить, — согласилась в шутку Матрена Сидоровна. Окончательно она еще не решила, стоит ли отпускать дочь. Жили они тогда уже одни. Иван и Алексей отделились, свои дома поставили. Старший сын Игнат еще после войны уехал из Кырмы, женился где-то под Усольем.

Матрена Сидоровна любила сынов, но Женька ей ближе всех и потому что последняя, и потому что дочь.

Согласилась отпустить только после того, когда Женя решительно заявила: все равно уеду. Старуха поняла: удерживать бесполезно. Иван даст денег, а в остальном остановки не будет.

Женю тянуло в город не столько учиться, как жить там. Что тут, в этой Кырме? Многие уезжали, не возвращались. Но если даже она вернется и будет работать в лесничестве, не вместо Привалихина, как пошутил Иван, а пусть даже техником, и то здорово. А так, после восьми классов, это — или в совхоз на ферму, или в то же лесничество рабочей. Веселого мало.

С хорошим настроением покидала Женя Кырму, уезжала навстречу своей судьбе. Было чуть-чуть страшновато, немножко грустно. Страшноватое и грустное перемешивалось и воспринималось

одним чувством — тревожного беспокойства. Но радость и счастье не унять — выхлестывали наружу. Это обижало Матрену Сидоровну. Пытаясь наставлять дочь, она говорила:

— Смотри там рот не разевай, без кошелька останешься.

Больше ничего не могла сказать, сама всего два или три раза была в городе и как надо себя вести — не знала. Помнила, когда-то все о кошельках беспокоились.

Алексей, уже подпивший, лез целоваться.

— Ты моя самая любимая сестричка, как же я тут без тебя. Забери и меня в город. — Здесь же стояла жена, но он, не стесняясь, плел: — Женку я там себе быстро отыщу, я, знаешь, какой прыткий...

Старенький автобус, дребезжа дверями и стеклами, давно отставшей обшивкой, подкатил к остановке. Мать на прощание обняла, Иван похлопал по плечу, Алексей еще раз успел оставить слюнявый поцелуй на щеке, пришлось вытирать платком, невестки и ребятишки помахали руками, и быстро наполнившийся автобус развернулся и повез ее в районный центр. Там она, два часа походив по магазинам, чувствуя себя уже совершенно независимым человеком, села в другой, побольше, но такой же старый автобус. Этот, видно было, когда-то возил даже интуристов: обклеен был выцветшими репродукциями из заграничных журналов. Мягкие сиденья с высокими спинками позволяли удобно устроиться. Женя наслаждалась. Разве такую жизнь сравнить с жизнью в Кырме? Нет, она правильно сделала, что уехала. С легкой грустью, насмешливо вспоминала свою симпатию Юру Костюковского, который вообще-то не глупый парень, но не соглашался с ней, что в городе лучше, чем в деревне, и не захотел ехать поступать. Так там и будет сидеть на своем кордоне, с презрением и обидой думала она о Костюковском.

Юрин отец работал лесником, и жили они на кордоне, далеко от Кырмы, в тайге. Женя никогда не была там. Но все говорили, что место очень красивое, и Костюковскому завидовали, особенно братья. Алексей мечтал поселиться на таком кордоне, тогда уж все звери, ягоды, грибы будут его. И, главное, некому будет нервы трепать. Мать посмеивалась над ним, что он не смог бы там прожить, за бутылками ездить далеко.

Юру уже брал отец на охоту и его мечта самая примитивная: стать лесником и жить опять же на этом дурацком кордоне. Что хорошего? Одна избушка в глухой тайге. Никого и ничего вокруг. Тоска! Подохнуть можно.

И не глупый парень, а вбил в голову...

На неровностях дороги автобус начинал дрожать, открывалось, насколько в нем все обветшало, болтается, шатается, дребезжит и стонет от долгой нелегкой жизни. Но шел он тем не менее на уровне своего класса — мягко и скоро. Женя не заметила, как прибыла в областной центр.

Это стремительное перемещение из Кырмы, края света, медвежьего угла, в крупный город подействовало на нее удручающе. Шум городских улиц, толкотня в трамваях оглушили и напугали ее. Гораздо увереннее она чувствовала себя в автобусе. Так бы ехать и ехать, не приезжая.

Но надо было осваиваться. Она не пыталась скрыть, откуда приехала. Если случалось чего не знала, спрашивала, не стесняясь. Больше того, подчеркивала, что деревенская, ничего не знает. Таким, заметила она, охотнее отвечали.

Множество сверстников ее съехалось со всех концов сдавать вступительные экзамены.

Конкурс в лесной техникум небольшой — желающих работать в лесу не много. В основном стремились в такие вузы и техникумы, чтобы после окончания остаться в городе. И Женя поступила. Домой возвращалась уже студенткой. Сейчас, вспоминая то время, понимает: больше никогда она не была так счастлива! Жалко, что счастье это быстро пролетело, не задержалось.

Сидела у окна того же автобуса, что мчал ее обратно в Кырму, смотрела на проплывающую вдоль дороги бесконечную родную тайгу и не могла сдержать волнения. Представляла, как удивятся все ее успеху и как она сообщит эту новость Костюковскому.

Матрена Сидоровна была довольна, но и переживала: не хотелось все же отпускать дочь, теперь уже надолго. Но теперь уже и не отпустить нельзя было.

Иван откровенно радовался. Все улыбался, все норовил погладить сестру по плечу, по голове, как маленькую.

Алексей не переставал удивляться, признался — никогда не думал, что она поступит.

Костюковскому сообщить свою новость Женя не смогла, его в это время не было в Кырме, сидел на своем кордоне. Потом уже получила письмо от него, в котором он не выражал ни радости, ни удивления, ни зависти.

Учеба давалась нелегко. Она и в школе училась без особых успехов, и в техникуме так же — средненько. Но то, что рассказывали о лесе, который знала с детства, было увлекательно, порой даже удивляло. Конечно, не все предметы нравились, были и скучные — и не интересовали и не запоминались. С ними хватало мороки, но кое-как справлялась, не подводила группу.

Учеба — дело ясное: учись, не ленись, остальное приложится. А вот в личной жизни получился вывих, который и учебу прервал надолго.

Жизнь в юности представляется делом простым и веселым. Кажется, все, что не так получится, можно переделать, пережить заново. Об опасностях, которые поджидают на житейских поворотах, мало задумываются.

Что Женя знала тогда, в шестнадцать лет? Мать ей ничего такого не рассказывала, все больше от подруг, да где подслушает от посторонних женщин, где из книг вычитает. Хотя в книгах о таком намеками. Чтобы догадаться, о чем речь, надо самой все пережить.

Случилось это с ней на втором курсе. Она хоть до второго дотянула. Были, кто и раньше свихнулся. Галка Алешечкина и Игорь Наймушин через полгода стали жить вместе как муж и жена. Потом, верно, и свадьбу справили, когда Галка уже на сносях ходила.

А у Жени свадьба не получилась.

Парней на курсе было много, среди них выделялся Гена Дмитриев. Высокий, черноволосый, красивый парень, повзрослее других — в армии отслужил. Однако вскоре Женя узнала, что у него есть невеста. Приезжала эта девушка из того города, откуда был и Гена, и всегда приходила на кухню, готовила для него. Потом они отправлялись в театр или на концерт.

С Дмитриевым жил Степка Коршунов. Он тоже отслужил в армии, тоже взрослее других. Но простяга, безалаберный и дурашливый. Все над ним посмеивались, а ему даже нравилось.

С девчонками держался запросто, как с мальчишками, никого не выделял. Верно, на Жене иногда задерживался задумчивым взглядом, но стоило ей заметить это, тут же ухмылялся, подмигивал: все в порядке!

Часто приходил в их комнату. Девчонки любили над ним потешаться, это не запрещалось. И тут же поили чаем, штопали одежду, пришивали пуговицы, гладили брюки. Он никого не просил, все это вызывались сделать сами.

Учился Степка хорошо. Учеба ему давалась легко. И вообще, если отбросить это его «шаляй-валяй», был он не глупый парень. Но почему-то ума никто не хотел замечать, а вот эта простота, доброта, расхлябанность всем нравилась, этим восхищались. Вели себя с ним так, будто став в круг, толкали его, и он летел, не сопротивляясь, а с другой стороны кто-то посылал сильным толчком обратно. А Степка только улыбался, не протестовал, не сердился, принимал все, как игру. А когда выйдут за круг, там уже он будет тем, кем есть на самом деле.

Но этого — «кем есть на самом деле» — опять же никто не желал замечать. Принимали таким, каким хотели видеть.

Женя в это время веселая, живая, общительная, смуглолицая с косым разрезом больших, не осокой прорезанных черных глаз обращала на себя внимание парней, но, казалось, не придавала этому значения. На самом деле нравилось производить впечатление, вызывать интерес. Даже тот же Дмитриев на нее заглядывался.

Одевалась она по-городскому, следила за прической и за лицом, ухаживала за руками. Из деревенских не каждая так быстро осваивалась в городе.

Степка ей тоже нравился своей веселостью, тем, что с ним, как с ручным, можно было запросто, ни о чем не беспокоиться, ничего не опасаться. Но так как к нему все в их комнате приставали, только он появлялся у них, то Женя не желала занимать очередь и чаще отмалчивалась, поглядывая со стороны.

Но удивительное дело, ловила себя на том, что ревнует его к подругам, не нравилось ей, что он позволял им так с собой обращаться.

Дальше этого ни мысли, ни желания, ни мечты ее не уходили. Все-таки он больше был похож на клоуна, а не на того парня, который мог ей понравиться.

Это было накануне майского праздника. Степка заглянул как бы между прочим.

— Хоп. А почему ты одна? — удивился он, будто даже огорчился.

— Все разъехались. Заходи посиди.

Он нерешительно, раздумывая, заходить или нет, стоял на пороге.

— Ну что выставился? Сюда или туда,— не выдержала Женя. Ей не понравилось, что Степка не обрадовался ее приглашению, будто приходил к кому-то другому.

— Сюда?.. Нет — туда... Нет — сюда, — начал он дурачиться.

Женя сорвалась со стула, хотела вытолкнуть за порог и закрыть дверь. Но Коршунов поспешно решил:

— Да нет же, сюда! Да! Сюда, точно.— И, захлопнув дверь, шагнул навстречу бежавшей к нему Жене.

— А то бы выперла сейчас же, — пообещала она.

Степка скорчил рожу, словно кто-то в круге толкнул его и он уже летел в другую сторону, откуда тоже ожидал толчка. Потом, расправив морщины на лбу, открыв глаза, спросил серьезно:

— Кого будем робить?

Это он так передразнивал свою бабку.

— Хочешь, чаем напою?

Жене приятно было чувствовать себя хозяйкой в городских условиях.

— Хочешь чаю с коньяком? — вопросом на вопрос ответил Степка.

— Нет. Никаких коньяков, только чай.

— Говорят, обалденный напиток.

— Нет.

— Скучно с тобой — чай, чай, чай.

Они помолчали, недовольные, что не договорились. Степка вскоре ушел.

Женя осталась одна. Читать не хотелось. Было грустно. Пожалела, что не уехала домой. Вспомнила Костюковского. Если бы он не сидел на своем дурацком кордоне, она бы с ним встретилась. А то приедешь, а его нет, он там у себя, в тайге.

Невольно сравнила его с Коршуновым. Юра парень серьезный, не пример Степке. Даже не по возрасту серьезный и умный. Но ум его деревенский. Одно у него на этом уме — тайга, охота, рыбалка. Ни о чем больше не мечтает, ничем не интересуется.

А Степка, он прикидывается, шалапутничает. Не поймешь его!..

Если бы пришлось выбирать, она не знает, кого бы выбрала из них.

И тут же рассердилась: почему именно Коршунов или Костюковский? Парней мало? У нее заветная мечта: встретить городского. Такого, как Костюковский, красивого, но городского.

Скучно все-таки одной. В предпраздничном ожидании всегда таится что-то томительно-неисполнимое, радость и страх, надежда и отчаяние. Кажется, близко то, чего ждешь, и не верится, что оно сбудется. Ты готов ко всему хорошему, но тебя обязательно обходят, не замечают.

Ругнула Степку, что сразу ушел. Уж лучше бы вовсе не показывал носа.

А на улице май. Из окон общежития не видно реки, ее заслонило такое же общежитие. Окна горят отразившимся в них закатным солнцем. А слева двухэтажный деревянный домик, и поверх его крыши виден кусочек лохматого, покрытого лесом холма. К этому ломтику тайги чаще всего возвращался взгляд Жени. Даже если она не смотрела на него, то чувствовала его присутствие.

Снизу доносилось шарканье ног по тротуару, позванивали сочные в весенней свежести голоса прохожих. Открытая форточка ловила запахи весны. Среди них чудился Жене запах оттаявшей тайги, пахнущего снегом ветра с гор, как в Кырме.

Нестерпимо захотелось домой. Еле удержалась, чтобы не броситься на вок-

зал. Нельзя. От комнаты ей выпала честь присутствовать на демонстрации. Да и время потеряно — надо было вчера ехать.

Собралась, пошла на улицу побродить, развлечься. Села в трамвай, доехала до центра. Оттуда потянуло к Ангаре. Народу сновало много, как и она, бесцельно. Парами, в одиночку, группами. Шоркали подошвами асфальт, болтали, смеялись, стояли у парапета, любуясь рекой. Парни косились на нее, одинокую, оглядывались, но не трогали. А ей хотелось, чтобы кто-нибудь остановился, заговорил с ней. Особенно те, кого она выделяла среди других. Но все проходили мимо, может быть, даже унося в себе такое же желание и не осмеливаясь его исполнить.

У спуска к воде на посадку в прогулочный катер постояла. Сзади подошел парень, из приезжих. Таких Женя узнавала сразу.

Река напряженно струилась зелено-голубой гладью и дышала студеной прохладой. В некоторых местах застыли заякоренные лодки рыбаков. Их едва заметно водило из стороны в сторону, будто сами они были большими рыбинами, что заглотили наживку и не могли сорвать.

На другом берегу зажглись огни и отразились в воде зыбкой цепочкой. Ближе к этому берегу разлился густой желтой краской закат. Напряженное течение в иных местах коробило и даже рвало его тонкую пленку, но она тут же восстанавливалась, так же мягко и тихо горела.

Жене всегда казалось, что реке худо в городе, хочется поскорее выбраться на свободу: на луга, поля, но всего больше хочется ей в тайгу. Только там чувствует она себя, как дома. Подступают к ней сосны и ели, кедры и березы, роняют иголки и листья, а не как в городе — в воду летят окурки и спички.

Жене порой не верилось, что одна и та же река течет здесь и там, в тайге, где спускаются к воде и пьют живую прохладу пугливые лесные звери.

— Красиво, — несмело напомнил о себе парень.

Женя оглянулась на него. Он ответил ей настороженным взглядом сразу повлажневших от волнения глаз. Ясно, что не прочь был познакомиться, но боялся, что она грубо ответит.

Невзрачного вида, приезжий, да к тому же пьяный — Женя молча отвернулась от него и пошла по набережной.

Красивее Костюковского она еще не встречала парня. Ну, может быть, Дмитриев. Но Юра не уступит Дмитриеву. Сюда бы его. С ним ей было хорошо. В тайге с ним не страшно. А как бы он вел себя в городе, неизвестно.

Многолюдность Жене всегда нравилась, а сегодня мешала. Пешком прошла до рынка. Везде в этот теплый весенний вечер полно было народу.

В общежитие уже приплелась затемно. Усталая, с неясным томлением, ожиданием чего-то. Мысли уплывали далеко, ни к чему не привязываясь, странствовали, перескакивая с одного на другое. И не мысли, а как там, на реке, водовороты. Вырывались из глубины, кружились и исчезали, ничего не сказав, а общее настроение непонятного ожидания продолжало течь и течь безостановочно.

Сходила на кухню, вскипятила чай. Вспомнила о доме. Автобус два часа назад пришел. Ее нет, и мать, тоже выпив чаю со сливками, сидит за столом, рассуждает, почему она не приехала. Ей могут отвечать Алексей, если пришел в гости, или Иван. А может, мать у кого-нибудь из них, но и там вспомнит о Жене.

Нет. Сегодня в гости не ходят. Сегодня одни мужики, которым не терпится дождаться праздника, напиваются. А завтра уж соберутся и, скорее всего, у матери, в старом доме. И тоже вспомнят ее и обязательно поспорят, почему не приехала.

Снова зашел Степка. Все так же дурачась, остановился в дверях.

— Сюда я попал или не сюда? Семенова здесь живет?

— Закрывай дверь, не валяй дурака, — приказала Женя.

Она обрадовалась ему: все-таки не одной сидеть. Степка прошел в комнату, со всего маху плюхнулся на стул у окна.

Женя досадливо покачала головой — не может этот человек вести себя нормально, без дурашливости.

— Чаю хочешь?

— Сыт во! — резанул Степка пятерней по горлу. — Только что из буфета.

— Смотри, как хочешь.

— Смотрю, как хочу.

— Твое дело.

Женя осталась недовольна отказом Степки, ей хотелось поухаживать за ним, почувствовать себя хозяйкой.

— Мое дело.

— Попка.

— Как, как? Повтори!

— Попка.

— Ах ты так! За что причитается.

Степка схватил ее за руку, притянул к себе, как-то ловко крутанул, и она оказалась сидящей у него на коленях. Задергалась, завырывалась, но парень держал крепко.

— Пусти, получишь.

— Скажи, больше не буду, отпущу,— поставил Степка условие.

— Больше ничего не хочешь? Отпусти.

— Скажи — отпущу.

Это была как бы детская игра, но только внешне, на первый взгляд. На самом деле ему было двадцать, а ей восемнадцать лет, они были одни, и то, что копилось, что мешало сосредоточиться, уводило ее на Ангару и заставляло идти назад полгорода пешком, что было непонятно, томительно и беспокойно — в этой игре начинало получать удовлетворение. Она повеселела, хотя для вида сердилась и бранила Степку. В другой бы раз и вырвалась и оплеух навешала, сегодня же была беспомощна.

Степка притих, сопел взволнованно. Руки, державшие ее за талию, скользнули вверх, к груди.

— Нахал! — вырвалась Женя. — Ах ты нахалюга, — ругалась она с силой и удовольствием, выплескивая вместе с руганью то радостное, что взняла в ней эта игра. — Сейчас получишь. Сейчас у меня получишь.

Она повернулась к сидящему и все так же улыбающемуся Степке. Глаза его подозрительно сине горели, на щеках занялся румянец. Замахнулась отвесить пощечину — он невольно закрыл глаза — и Женя не по лицу, по плечу отшлепала его.

— Вот тебе, вот тебе! — И отошла к окну.— Убирайся отсюда сейчас же. Нахал!.

— Я тебя хоть раз обозвал? — не в силах справиться с волнением, заикаясь, спросил Степка. И сам ответил: — Ни разу. А ты меня: и попка, и нахал.

— Да! Нахал, нахал.

Степка поднялся. Вздрагивающая улыбка не сходила с его лица. Синие глаза светились веселым жадным светом, чуб взлохмаченно торчал в разные стороны.

— Ты пожалеешь за нахала.

— Не подходи, получишь, — предупредила Женя, нервно-радостно трепеща.

— От тебя?

— Да, от меня. Да, от меня, — стала отбиваться.

Степка поймал ее за руки, свел их назад и привлек к себе.

— Пусти, получишь, — противилась Женя, чувствуя силу парня, удивляясь ей и радуясь. Но особенно этому тесному соединению с его телом, где она вся прижалась к нему, и, отвернувшись, горячо дышала, стараясь, хотя ей этого не хотелось делать, освободиться от объятий. — Сейчас кто-нибудь войдет.

Не отпуская ее, Степка приблизился к двери и повернул ключ.

— Ну нет! Давай открывай дверь и марш домой. — Женя вырвалась, воспользовавшись тем, что отнял руки. Голос ее подозрительно дрожал. Степан все понимал, и его уже нельзя было выгнать отсюда. Это чувствовала и Женя, хотя делала вид, что выставляет из комнаты. — Слышишь, кому говорю!

Степка невинно улыбался.

— Забоялась? Это тебе за попку и нахала.

— Нахал и есть. Пусти.

Коршунов все тем же приемом привлек ее к себе и, удерживая одной рукой ее руки, другой повернул голову, пытался поцеловать. Женя напряглась, сопротивляясь, но постепенно уступила. Степка отметил про себя, был ученый в этом деле.

После того, как он запер дверь, Женя будто согласилась с тем, что происходило. И если бы парень вдруг оставил ее, ушел домой, она бы про себя обозвала его чудаком. Ну даже не обозвала, но была бы недовольна и долго бы не смогла уснуть.

— Свет выключи.

Он послушно повернулся выключить

свет, и она отошла к шкафу, прижалась в угол.

— Включи свет, — почему-то шепотом скомандовала.

— Включи, выключи, — сдерживая взволнованное дыхание, передразнил Степка. Вскоре глаза его привыкли к темноте, и он увидел, где она стоит, молча приблизился. И она так же молча сопротивлялась, понимая, что сопротивляется больше себе. Мешала ему бессильными руками, он медленно отводил их. И эта спокойная борьба, наполненная густой страстью, делала ее беспомощной и безвольной. Ум еще возмущался какой-то частью, а тело, опутанное нестерпимым желанием, было словно мореное. Она куда-то проваливалась, только иногда возвращалась к реальности. А там, куда проваливалась, было так сладко, что ни за что не хотелось возвращаться.

Такого еще с ней не было, такого она никогда не испытывала. Порой даже забывала, кто рядом, кто это все с ней делает.

— Нет! Не смей!

Он что-то ей говорил, что — она плохо понимала, и продолжал свое.

— Дай слово, что поженимся, — потребовала Женя.

— Да... даю, — прохрипел Степка, поперхнувшись на первом слове.

— Скажи честное слово.

— Честное слово.

И она понимала, что он в это время может дать ей любую клятву, все равно верила ему. Это была даже не вера, а утешение тому, что с ней происходило...

Степка лежал рядом. Женя постепенно отходила, будто возвращалась откуда-то, из какого-то непонятного, странного состояния, в которое ее затащила ранее неизвестная ей сила. Что это за сила? Что это с ней было такое? Это и есть то, о чем так много говорят и так много молчат. Странно. Оно лишило ее воли, заставило уступить Степке. Почему Степке? Значит, могла кому угодно другому? Женя вздрогнула. Какая мерзость... Она плохо помнит, как это все получилось. Что с ней происходило? Почему она уступила, поддалась? Ей больше нравилось, когда Степка баловался с ней. Не надо было ему так много разрешать. Но это не она разрешила! Ее будто подменили. Куда это все сейчас девалось? Почему сейчас все совершенно другое? Почему ей стыдно и странно? А как же Юра? При чем тут Юра! Теперь ей не до Юры. Теперь вот он, ее муж. Муж?! Какой он муж! Он такой же шалопутный, безалаберный, как и был, Коршунов, короче. Но теперь он уже ее муж. Она уступила. Их соединила тайна. Только чтоб он не вздумал щеголять. Как ему запретишь? Пойдет разнесет по всему курсу. Нет, он не расскажет. Она в него почему-то верила. Поэтому, наверное, и он, а не любой другой. Она никогда не сомневалась, что в их комнату он ходит из-за нее. Эти его постоянные взгляды, Не взгляды, а подглядывание, будто прицеливался, примерялся. Нет, не случайно. Только он, ни с кем другим у нее такое не могло произойти.

Так успокоив себя, она поднялась, переступила через Степку, оделась и вышла, закрыв за собой дверь на ключ. Невольно при этом подумала, что делает это будто для того, чтобы он не убежал.

Пошла в конец коридора. Вернулась, он все еще лежал.

— Ну что разлегся, вставай! — скомандовала независимо. Независимость эта, однако, ничем внутренне не подкреплялась и была похожа больше на отчаяние. Так балованный ребенок, которого не раз предупреждали, что баловство не приведет к добру, вдруг на самом деле посадил себе шишку, но не плачет, изо всех сил старается показать, что ему не больно.

— Вставай!

— Не хочу, — ответил Степка, улыбаясь.

Жене легче, что он дурачится, будто ничего не произошло.

— Доволен?

— Очень! — потянулся Степка.

— Хватит валяться. Ты помнишь, что обещал? — спросила она вдруг. Не выдержала.

— Не-е, — беспечно протянул Степка.

— Что?! — грозно и одновременно испуганно спросила Женя.

— Помню, помню, — поспешил успокоить ее Степка. — Иди сюда, расскажу.

— Поднимайся и убирайся, я спать хочу.

— И я с тобой.

Он остался. Они лежали рядом.

«Интересно, — думал Женя, — как это можно вот так запросто лежать с парнем». Если бы ей кто сказал об этом вчера, она бы наплевала тому в глаза. Как это так сразу она стала такой ручной, такой послушной.

Опять явилось чувство вины перед Костюковским, но она старалась его не замечать. Не хватало из-за Костюковского мучиться. Но каким-то образом оно все равно подействовало. Женя вздрогнула, испугалась. Все, что случилось, показалось таким важным, что могло перевернуть ее жизнь.

Убрала руки Степки, которые беспрерывно лезли куда не следует, повернулась к нему, напряженно взвешивая всё, чувствуя себя почему-то удивительно несчастной, и... уловила мерное дыхание и посапывание. Степка спал, положив руку ей на грудь и прижавшись губами к ее волосам. Это было так неприятно, что если бы не то, что между ними произошло, сейчас бы встала, схватила швабру и выперла его из комнаты. Как можно спать, когда случилось такое! Ведь надо обо всем переговорить, как дальше будут. Как они будут дальше! Надо расписываться, играть свадьбу. Если этого не сделать сразу, весь курс узнает, что они живут, как муж и жена, не поженившись. Это какой стыд!

Поднялась, перешла на другую койку. Но и там уснула только под утро. Всю ночь беспокойство не покидало ее. Само по себе ничего не случилось, размышляла она, мелочь. Если бы не все последствия, которые могут из этого получиться. Слишком много последствий, каких-то обязанностей сразу появилось у нее, до этого свободной, ни от кого независимой, неприятных обязанностей. Она вообще не любила перед кем-то отчитываться, кому-то подчиняться, быть обязанной. А теперь вдруг, после этого безобидного, ничего не значащего, как показалось ей вначале, всего, что произошло между нею и Степкой, она обросла заботами, обязанностями. И уже надо было и то, и другое, и третье. И еще хорошо, если Степка поддержит ее или хотя бы не будет противиться. А вдруг он отнесется к этому иначе, чем она про себя наметила. Это значит ей надо будет его уговаривать, унижаться перед ним. Она такого не вынесет.

Наделала делов. Легче, наверное, выгнать его, сказать, чтобы он и дорогу сюда забыл: побаловались и хватит.

Проснулась Женя, будто кто-то, кто во сне оставлял ее на время, вернулся и толкнул в бок — вставай, пора делом заниматься, если кашу заварила.

За окном синел рассвет весеннего дня. Первое мая. Запомнится ей этот день на всю жизнь.

Приподнялась на локте, взглянула на свою койку. Степка спал, разбросав по подушке светлые кудри. Красавец! Черт его принес вчера. Почему она его не выгнала? Как бы сегодня было легко ей проснуться свободной, беззаботной.

Лежала неподвижно, сжавшись, словно затаилась, и только мысли плыли серыми тучами и чувства вспыхивали больно, вырываясь из унылого состояния души.

Долго, однако ж, оставаться в таком состоянии не могла, она человек дела: надо что-то предпринимать, решать. Пошла умылась, расчесалась, привела себя в порядок. Подошла к Степке. Он спал вниз лицом, обхватив подушку.

Теперь они все время будут вместе. Теперь она будет все время его будить. Понравится ли он такой матери и братовьям, глядя на Коршунова, думала Женя. Вообще-то парень он не плохой. Шутить над ним шутят, вернее, не над ним, а над его дурачеством, но все его любят. Всем он нравится.

И снова, уже в который раз, остановилась, будто запнулась, испуганно оглянулась: неужели это она? Неужели это с ней случилось? Не верилось, будто снилось. Очнулась, стала тормошить Степку. Запустила руку в волосы.

— Вставай. Пора тебе. Слышь, Степка. Увидят.

— А! Что?

Парень подхватился, но, сообразив, где находится, блаженно потянулся, хрустнув суставами.

«Длинный, худой, одни кости», — отметила про себя Женя.

— Ты на демонстрацию пойдешь? — спросила так же спокойно и независимо. Делала это умышленно. На самом деле

хотелось обращаться к нему помягче, поласковей.

Не отвечая, он опять повалился на койку. А когда Женя подошла, обхватил ее за ноги, как свою, привычно, ловко. Она не противилась и тут же оказалась рядом.

— Это все серьезно, Степа, — наконец позволила себе ласково обратиться к нему. Он улыбнулся, закивал головой.

— Само собою, — ответил все тем же дурашливым тоном.

Она решала: обидеться за легкомыслие или принять и отвечать так же шутя, только о серьезном. Сказала легко:

— Вот рожу, тогда посмотрим, как ты заговоришь.

В тот момент она и сама еще в это не верила, не допускала в мыслях, что такое может получиться. Потому и говорила так легко.

Сейчас, задумываясь над прошлым, видит, насколько была наивной, с детскими представлениями обо всем. Но что странно, это повторилось и второй и третий раз. Будто в это время кто-то вставлял ей другой ум, по-другому заставлял вести себя. А проходило это, и она спохватывалась — что натворила!

Улыбка на лице Степки потеряла цвет.

— Не вздумай, — что-то прикидывая в уме, сказал он.

— Вставай, на демонстрацию опоздаем, — подтолкнула его Женя. И снова поймала себя на мысли, что никак не может найти, как к нему обращаться. Не устанавливаются пока отношения, которые должны быть между ним и ею в том положении, в котором они оказались, будто жених и невеста, или даже больше. Он встанет, оденется, скажет: «Всего хорошего, я пошел», — и больше не придет. От него всего можно ждать. Это же Коршунов.

— Демонстрация отменяется, — провозгласил Степка.

— Не пойдешь, убирайся к себе, пусти меня.

— Никто не пойдет.

Они заспорили. Уж больно Степке нравилось валяться с ней в постели, и он никак не хотел вставать. Женя вырвалась, стала одеваться. Она теперь не стеснялась его. Да и чего было стесняться, фигурка у нее отличная. Порой даже сожалела, что ее никто не видит вот так. Пусть Степка полюбуется.

Он тоже встал. Одевался неторопливо, с шутками, как всегда, будто не первый раз ночевал у нее. На какое-то время Женя даже возгордилась, что они, как взрослые. Ведь этим поступком она перешагнула какой-то рубеж, отделявший ее от взрослых женщин.

Но радость вскоре растворилась: слишком уж неопределенным было ее теперешнее положение — ни невеста, ни жена.

В колонну встали рядом. Дмитриев, заметив Коршунова, позвал к себе. Степка сначала отшучивался:

— Нельзя ломать стройные ряды.

А потом все же пошел к Гене. Они о чем-то говорили и смеялись. Женя ревниво подсматривала за ними, ждала, догадается Степка пригласить ее к себе. И он, будто уловив эти мысли, оглянулся, позвал. Она заколебалась: идти или не идти. Если пойдет, разговоров будет на весь курс. Но все равно рано или поздно узнают. Пусть сразу, чего таиться. Протиснулась, встала рядом. Степка, как свою, обнял ее за плечи, и она не уклонилась. Генка удивленно посмотрел на них, но промолчал. Зато Жора Синицын, который раньше пытался за ней ухаживать, презрительно скривил губы. И все время Женя ощущала на себе его неприязненный взгляд.

Степка и Женя как-то даже подходили друг к другу: оба веселые, живые. И никто не сомневался, что у них все получится нормально. Девочки из ее комнаты завидовали ей и вольничать со Степкой, как прежде, теперь уже не решались.

Стали вместе столоваться. Женя готовила, Степка бегал по магазинам. Иногда, правда, увиливал, ссылаясь на то, что ему надо на тренировки.

Родным Женя решила, пока не сыграют свадьбу, ни о чем не говорить. Степка почему-то тянул, придумывал, что ему еще рано жениться, если узнает отец, не поздоровится. И в Кырму, сколько ни приглашала, не ехал, отшучивался:

— Братовьям не глянусь, отметелят, ребер не досчитаюсь.

...Женя смотрит на своего старшего, ему уже девять лет, и думает, как давно это было. За десять лет троих родила — бурная молодость. Сережка ни на кого не похож. Степкиного в нем ничегошеньки. Только проскользнет иногда дурашливость, лишняя болтовня. С нею у сына тоже едва уловимое сходство.

Со Степкой все кончилось неожиданно. Сдавали экзамены, готовились к каникулам. Женя опять предлагала ехать в Кырму.

— Нет, я боюсь, братовьям не глянусь...

— Поехали, мать будет рада.

— Будет ли? Нет, я решил — еду в экспедицию, лес устраивать. Денег заколочу с тыш-шу, осенью свадьбу закатим.

В нем сидело непреодолимое упрямство и еще что-то, что удивляло и пугало ее. Вдруг начинал уросить: ничего ему не нравилось, ничего не хотел делать, даже на занятия не ходил. Куда-то исчезал, а через некоторое время появлялся грязный, измятый, заросший.

— На поездах катался.

— Я серьезно спрашиваю.

— Так же отвечаю.

И весело, как-то облегченно, улыбается. Глаза сине вспыхивали, от губ не отставала улыбка.

— Скоро рванем в экспедицию,— мечтал, отвалившись от стола. А Женю почему-то тревожили эти разговоры.

Чтобы успеть «в поле», они с Геной досрочно сдали экзамены и укатили. Даже не простился. Женя пришла с консультации, нашла записку, где он сообщал, что уехал, до осени, до свадьбы.

Но больше она его не видела. Гена как-то туманно рассказывал: их разделили, прикрепили к старым рабочим. Степка однажды отстал на просеке от своего «поводыры» и потерялся. Две недели искали всей партией и не нашли.

— А вообще, у него последнее время что-то с головой случилось, — признался Гена. — Нельзя ему было работать в тайге. Говорит однажды мне, и таксатор с нами был, мы просеку меряли. Остановились у скалы. Хочешь, залезу, прыгну на спор. Я говорю, какой же спор, если от тебя одни кости останутся?

И Женя отчетливо представила, как Степка при этом улыбался и смотрел вызывающе весело.

— Хочешь?

Генка ему ответил:

— Нет, не хочу. Не люблю покойников.

— И я тоже, — признался Степка. — Вот если утонуть, рыбы съедят — и концы в воду.

— Утопленники выплывают, только желчь лопнет, — проворчал таксатор, подслушавший их разговор.

— А если с грузом? — с вызовом спросил Степка. Ему никто не ответил.

Женя ездила к его родным. Мать удивилась, ничего не слышала о ней от Степки, отнеслась поэтому подозрительно. Отца, о котором любил рассказывать Степка, не было. Он утонул лет пять назад на рыбалке. Старший брат где-то жил на севере. С матерью осталось дочка восьми лет, как Сережка сейчас.

Жене даже не предложили переночевать. Когда поехала обратно, в автобусе разговорилась с женщиной из той деревни. Она пояснила, почему Степка погиб. Поверье такое есть: если кто-то в родове свихнулся, руки наложил на себя, то передается на кого-нибудь из другого колена. Кровь гнилая завелась. У Степки дядя, материн брат родной, ни с того ни с сего повесился. Значит, и Степку за собой позвал.

Женя не верила, но слушала внимательно. Ездила она уже когда Сережку носила. Женщина покосилась на нее, не выдержав, спросила:

— А это, чо ль, его работа?

Женя покраснела и молча утвердительно кивнула.

За окнами плыли бесконечные степи. Плоские равнины постепенно закручивались, будто кто-то вращал колесо с центром, там, дальше, за холмами — тянулась в удалении непрерывная гряда туповершинных ленивых бугров. Они то приближались, то отступали и исчезали вовсе. Желтели спелые хлеба. Но местами встречались с незрелой зеленью. И все равно уже ходили комбайны, начиналась уборка.

Женщина наклонилась ближе, чтобы Женя лучше слышала.

— Парень он не плохой был, но повадками весь в дядю. Так ничем, а вот

повадками — вылитый Кузьма.

Матрена Сидоровна поняла и простила дочь. Братья, Алексей особенно, не верили. Пьяный Алексей говорил такое, что уши вяли. Мать и невестки взяли ее под свою защиту.

Учебу пришлось оставить, перевестись на заочное. Закончила, когда Сережке было три года. К тому времени уже привыкла к своему положению вдовой девки, и к ней привыкли, все в Кырме знали об ее истории. Братовья заходили как ни в чем не бывало.

Костюковского видела только раз, когда вернулся из армии. Встретились случайно. Женя шумно удивлялась, как изменился, как возмужал. Он действительно изменился за то время, сколько она его не видела.

Юра спокойно и, как Жене показалось, нехотя отвечал на ее расспросы.

Та детская симпатия, которая когда-то связывала их, ушла в безвозвратное. Встреча Жене не понравилась, вызвала в ней грусть и беспричинную вину. Поведение Костюковского ее рассердило. Разговаривал он с ней так, будто она просила его об этом. «Еще Костюковский будет из себя личность строить», — ворчала она.

Вскоре услышала, что женился. Девку взял из соседней деревни. И увез на кордон.

«Так ей и надо, знала, за кого замуж выходить», — смеялась Женя.

Матрена Сидоровна с удовольствием возилась с внуком, была рада ему. Женя поехала сдавать госэкзамены и устроилась на работу в пригородном лесхозе. О сыне она теперь не беспокоилась — вырастет. В деревне ребятишки растут незаметно. Изба большая — места хватит.

— Вези еще, — подпив на Жениных проводинах, шутила одна из невесток, чукая Сережку на коленях.

— Этому ее учить не надо, — сердито заметил Алексей. — Это у нее запросто.

— Будет сын, твоим именем назову,— пообещала Женя.

Все рассмеялись.

— Давай, — согласился брат, — только там с ним и оставайся.

— Ты пошто их оттуда возишь, здесь сробить некому? — смеясь, спросил сосед, старый бурят дед Илья.

Женя ответила ему так же, не задумываясь. Она теперь была остра на язык, жизнь научила.

— Здесь сробят — на бурята будет похож, а я русского хочу.

— Русский слаще, думашь? — хитро прищурился старый охотник.

— Не знаю, бурята не пробовала.

И опять застолье покатилось со смеху.

— Ты больно уж язык-то не распускай, — отсмеявшись, проворчала Матрена Сидоровна, больше для порядка.

— Да! — сердито подхватил Алексей, которому не терпелось заняться воспитанием сестры и который никак не одобрял, что мать так мягко с ней обращается. — Еще сопли не высохли, а уже такое плести при матери.

Но его остановила та же Матрена Сидоровна.

— Тебе власть дай, ты ее в чулан запрешь и из ложечки кормить будешь.

— Нет, но так тоже уж некрасиво.

— Ну успокойся, не распускай нервы.

— Водки еще хватит, успеешь нализаться, — поддела Женя. Знала, чем досадить брату.

Алексей опять взвился. Но за Женю заступился Иван, его поддержали невестки и Алексея осадили.

Уезжала Женя потому, что в Кырме замуж выйти не за кого, а ей был всего двадцать один год. И кроме того, не оставляла ее надежда жить в городе. Степка помешал, а так бы нашла она себе городского парня.

Работала в пригородном лесничестве. О сыне никому не рассказывала, чтобы не отпугнуть женихов.

С кем поведешься, от того и наберешься. В этом же лесничестве техником, как и Женя, работала Катька Тищенко. Приехала она из Воронежской области. На квартире стояла у тети Тани, одинокой бездетной женщины. Жила тетя Таня с матерью Полиной Семеновной, попросту бабой Полей.

Катька была девка отчаянная, матерщинница, любила вино. Больше всего доставалось от нее леспромхозовским. Поедет принимать лесосеку, такого шума наделает, что те бегут жаловаться.

Как-то после очередного скандала лесничему позвонил директор леспромхоза.

— Василий Константинович, что там у вас за матерщинные девки появились? Все мои бригады на лесоповале разогнали, технологию работ нарушили.

— Как разогнали?

— Вот Семин, начальник участка, жалуется, невозможно работать — кроют с седьмого этажа. Ты разберись. Это не дело: мужиков обижать.

— Так которая из них? У меня их две.

— Тищенко какая-то.

— А-а, эта. Эта может. Но за дело, наверное?

— При рабочих. Ты же сам понимаешь, начальника при рабочих материть не положено, производственный этикет не позволяет.

— А он что, не мог ответить?

— Отвечал. Разругались, говорит, слушать противно... Ей сколько лет?

— Двадцать где-то.

— Ну, парень, это что же с нее дальше будет? Надо воспитывать.

— Будем пытаться.

В тот же день лесничий вызвал Катьку к себе. Она вначале горячилась, возмущалась, что у них порядка на лесосеке нет: пни завышены, волока как попало, подрост поизломали.

— Пиши акт.

— Записала.

— А материться зачем?

— А чтоб следующий раз помнили, — похвасталась техник и рассмеялась. Разговаривала она шумно, с подвыванием.

— Следующий раз они тебя оштрафуют за мат, — пообещал лесничий.

— А-а, не оштрафуют, это не в общественном месте, в лесу, — махнула Тищенко пренебрежительно рукой.

— Ты же молодая девка, — попытался лесничий зайти с другой стороны, стал увещевать. — Тебя никто замуж не возьмет, будешь такой матерщинницей.

— И не надо... — Но подумав, заявила: — Возьмут, куда денутся.

Лесничий между тем говорил.

— Мужики на девок из-за матов жалуются. Такого я еще в своей практике не встречал.

Катька ничуть не переживала, смеялась вместе со всеми.

— А что, Василий Константинович, пусть они хоть немного боятся нас, — задрав голову, захлебываясь смехом, гудела она.

Когда говорила с воодушевлением, всегда задирала голову и даже глаза закрывала.

— Вот. Чтоб больше такого не было,— предупредил лесничий. — Не то будем разбираться с тобой.

Это не испугало техника. Она считала — ничего страшнее того, что приехала и работает здесь, в Сибири, быть не может. Больше ничем испугать невозможно.

Спросила насмешливо:

— А как уж, Василий Константинович, если не секрет, разбираться будете?

— Найдем как. На комсомольском собрании, на общем. А не исправишься, отстраним от работы.

— Ясно, — поднялась техник. — Можно идти?

— Да, — разрешил лесничий.

И только-только успела закрыться дверь за ней, лесничий остался в конторе, как покатила Тищенко по большой ивановской, да так, что сидящие в курилке лесники от удивления онемели. На этот раз крыла она не только леспромхозовцев, начальника участка Семина в частности, который жалуется на нее, но и лесничего, угрожающего ее уволить. Такую работу, за такие деньги она у себя под Воронежом найдет — вздумал чем пугать.

Шла по дощатому тротуару от крыльца к калитке, твердо ступая, и несла во весь голос такое, что не каждый мужик может себе позволить.

— Что так рассерчала, Катерина Николаевна? — поинтересовались, наконец, пришедшие в себя лесники.

Катька не обратила на них внимания, с матами удалилась от конторы.

Отсмеявшись, кто-то заметил:

— Навроде, как не все дома.

— Похоже...

Пила Тищенко, как сама говорила, «по-черному» на пару с тетей Таней. Женя собралась было сменить квартиру, но баба Поля отговорила:

— Перебесятся, придет время. Этой замуж надо готовиться — время приспело. У моей здоровья осталось на две поллитры. Перебесятся.

Старуха рассказала Жене, что тетя Таня тоже несчастливая. Был у нее мужичонка, пожили они, да детей не нажили, он и подался к другим счастья искать. А на нее, на Татьяну, больше никто и не позарился. Вот и накатывает порой.

Катька, подпив, рассказывала, как лесхозовский начальник уговаривал, в любовницы сватал. Обещал устроить на работу в городе. И как она на него производила впечатление.

— Намазалась. Села поближе, титьки на стол положила и к нему, надо не надо, клонюсь. А он вот так вот вставными челюстями играет, ему уже давно за шестьдесят, сюсюкает: «Будесь здесь лаботать, нам инсенела лесных культул нусьно». Хрен старый. Из самого песок сыпется. Я ему говорю, нет, Михаил Яковлевич, вы уж меня в лесничество лучше, я не опытная инженером. А вы будете приезжать. Дак он на второй день тут как тут был. В машину посадил и повез на речку. Выпили «класненьку», полез целоваться. Челюстями как застучал, — Катька зашлась в смехе. — Тьфу! Мне так противно стало. Я отбиваюсь от него, а он вцепился, как клещ. Ох, и отматерила я его! Сразу отступился. Глаза по пятаку. А я успокоиться не могу. Из меня если уж полезло, пиши — пропало. Он на улицу к шоферу: «Стипан, Стипан, поехали». А я уже пешком чешу. Так и не села...

— Сама же растравила мужика, — проворчала баба Поля, отсмеявшись.

— Я, бабушка, не жадная, — призналась вдруг Катька. — Если кто по душе, можно и пообниматься. Но со вставными челюстями!...

Это она уже говорила трубным голосом, который у нее появлялся, когда сердилась или смеялась.

— До всего доживете, — думая о своем, не согласилась старуха. У нее на все были свои мысли, над которыми нельзя было не задуматься.

— Еще не скоро доживем.

— Не успеешь оглянуться.

Женя не ушла от Катьки, как подруга, она была неплохая. Постоять за себя, за Женю умела. И пили они не так часто. С кем попало не водились. Приезжали солидные мужчины из города, прилично одетые. А Жене все городские нравились. Но она в гулянках не участвовала, уходила или в зимовьюшко, или к кому-нибудь в гости.

К Катьке зачастил тракторист из леспромхоза, щупленький паренек Димка. Она смеялась над ним, шутила — будущий муж. Выпивали вместе, но как положено, будущего мужа держала на дистанции, чтобы не подумал о ней чего плохого.

Женя тогда познакомилась с Иваном. Ничего особенного в нем, казалось, не было. Ну, рослый, крепкий. С усами, больше для щегольства. Водкой не увлекался. Но с явной склонностью поволочиться за кем-нибудь. Это видела Женя и все же не прогнала его.

Нравится бабам, сейчас уже понимает она, когда за ними ухаживают. В каждой сидит эта слабость. Слова ласковые начнут говорить, она уже и уши развесила, забывает обо всем.

Иван знал, с какой стороны подойти. Незаметно втерся в доверие, и к Жене, и к остальным в доме тети Тани. Это тоже талант, не каждый так сможет.

Женю предупреждали, что у него семья, да она поначалу и не собиралась с ним дружбу заводить. Только когда увидела его жену, маленькую, невзрачного вида, горбатенькую учительницу начальных классов, зло подумала: эта горбатенькая не плохо устроила свои личные дела.

Каково будет горбатенькой, Женя тогда не задумывалась. Оправдывалась тем, что Иван, выходит, жене безразличен, если она не обращает никакого внимания на его похождения.

Сын у Ивана рос, которого он очень любил, и с женой, как потом выяснилось, разводиться не собирался. Она его полностью устраивала, и, наверное, больше всего этой свободой, которую предоставляла ему безоглядно. Любила ли до такой степени или ненавидела за постоянную измену — неизвестно.

Когда Женя сообщила Ивану свою новость, он сразу перестал к ней ходить. Это было такое предательство, что Женя растерялась. Почему-то вбила себе в голову, что он уже ее — ведь она намного лучше горбатенькой, красивее, и внимательнее, и все прочее.

Катька прореагировала бурно.

— Я и то смотрю, что-то ты, девка, уж серьезно думала, что он семью бросит, да к тебе побежит. Их вот сюда слушай, а отсюда выпускай, не держи в голове. — Она показала на одно, потом на другое ухо.

Женя сидела удрученная. Все получилось так внезапно и было так страшно, что она долго не могла прийти в себя.

Начались советы, предложения, доводы. Тетя Таня сказала:

— Как по мне, то я, сколько бы ни было, всех бы рожала. — И умолкла. Она за свою жизнь не родила ни одного и, видимо, тосковала по ребятишкам. Вырвалось это у нее неожиданно, покраснела и отвернулась.

Женя решила — будет рожать.

— Погоди, еще я с ним поговорю, — пообещала Катька.

Как уж она разговаривала, никто не слышал, но неделю носила синяк под глазом, а Иван ходил с поцарапанным лицом.

Старуха, увидев Катьку с синяком, рассмеялась.

— Это ты так поговорила? Серьезный, видно, разговор получился.

— Ему, коту поганому, отрубить это дело и на помойку выбросить, — Катька грязно выругалась.

— Такими вещами не разбрасываются,— заметила баба Поля и, помолчав, добавила: — Тем более, парень-то он свое дело исправно робить, если девки к нему липнут.

— Облипли. Больше языком «робить», а такие дуры, как Семенова, уши развесили.

Рожала Женя там же, в поселке, и вскоре уехала. Приезжал за ней брат Иван. Молча собрались они и «отвалили», как выразилась в сердцах Катька, недовольная тем, что они с тетей Таней собрали на стол, приготовились отметить отвальную, а Семеновы не стали задерживаться, им было не до застолья.

— Значит, это у нее уже второй ребенок? — поинтересовалась баба Поля.

— Да, и все без мужа, — подтвердила Катька, задумавшись.

— Старая примета есть: кем девка расчата будет, так и судьба ее сложится, — произнесла старуха, глядя в окно. Там под горой виден был длинный хвост поезда. Баба Поля любила наблюдать, как поезда снуют взад-вперед, размышляя: сколько катается народу без дела. Раньше на местах сидели, к работе привязаны были. А сейчас взад-вперед, взад-вперед! Да еще «ропланы» в воздухе. Где же толк будет?

— Как, как ты сказала примета? — спохватилась Катька.

Старуха повторила.

— Это как же понимать? — рассмеялась Катька.

— А так и понимать, что не надо торопиться с ентим делом. Вот она, как рассказывала, и с первым не в законе жила. Отсюда и пошло все.

Катька пренебрежительно махнула рукой.

— Отжившая примета. Теперь по-другому.

— Оно и видно, — проворчала старуха.

— Теперь, бабушка, надо головой больше работать, а не «ентим», как ты говоришь, делом, — Катька решительно прошлась по комнате и остановилась у окна.— Тогда и нагуляешься досыта и замуж выйдешь девственницей.

— И такое уже придумали? — поддела старуха.

— Какое?

— Что можно с парнем жить, как с мужем, а потом девственницей опять стать.

— Да... — коротко ответила Катька, отвернувшись от старухи. Она ее больше не интересовала, отживший человек.

В Кырме без насмешек не обошлось. Даже дед Илья, их сосед, встретившийся Жене у колодца, не удержался:

— Ну что, опять русский?

Но она так на него зыркнула, что старик, разливая воду, поспешил домой.

На первых порах Жене было трудно. Даже родные отвернулись от нее. Иван еще заходил изредка, жена его забегала. Алексей даже не здоровался, не то чтобы когда зашел, хотя жили почти рядом. И жене своей запретил ходить к ним. Но она тайком заглядывала, заносила что-нибудь, утешала.

— А девка ничего, хорошенькая.

Тьфу, тьфу — не сглазить. Вырастет, не переживай.

Женя обычно отмалчивалась.

— Ты на алименты-то подашь или как?

Вопрос явно был задан не из-за алиментов. Невестка больше интересовалась: знает ли Женя от кого хоть родила. Алексей убеждал жену, что сестра до того опустилась, не знает от кого несет.

— Проживем без алиментов. Правда, мое ты горюшко сладкое? — Взяла Женя дочку на руки. Девочка, то ли испугавшись, что Женя высоко подняла, то ли не понравилось на руках, скривила губки и зашлась в безотрадном детском плаче. — Ну, ну, ну, ну! Что это за голоса раздаются? Чем это мы так недовольны? Перестань!

И Светочка, выразив таким образом свое недовольство, замолчала с полными слез глазами, с надутыми губками, стараясь увернуться от матери, которая принялась ее неистово целовать.

Светку Женя любила в то время больше Сережи, как-никак девочка, да еще такая махонькая. В любви к детям не подмешивалось отношение к отцам. Степку было жалко, его смерть принималась ею, как какое-то нехорошее предзнаменование, откуда и все ее несчастья. Ивана она не винила — парни одного добиваются, и не их забота, что из этого получится. Девка должна сама за себя беспокоиться.

Но и тот же Иван... Неужели он никогда не задумается, что где-то растет его дочка, его дитя. Навернее, задумается.

На это рассчитывала Женя, когда, отказавшись от алиментов, уехала. Хотя какие там алименты! Их надо было еще высудить. Со свидетелями, что он ходил, что это его ребенок, а не кого-то другого. Там стыда не оберешься.

Вскоре Женя устроилась на работу в Кырменское лесничество. Мест хватало, не больно-то много желающих в эту дыру ехать. Забот было полно и дома, и на работе — везде надо было успевать. И постепенно все встало на свои места, забылось, приладилось, подогналось.

Алексею как-то пришлось к ней обратиться по работе, унять гордыню. Потом и домой заходить стал. А подвыпив, со слезами признался:

— Хоть ты и блядь, а все равно сестра, родная!

Матрена Сидоровна одернула:

— Ну, ты, выбирай выражения-то, коли в гости пожаловал, а то можешь и не ходить, если с таким на душе.

— Мама, я, конечно, извиняюсь, но больно мне за нее.

— Не болей, переживет. Вырастут, еще помогать будут. Не заметишь. Дети — это радость.

— Если бы как у людей...

— Что ж, не судьба, значит, как у людей, — откровенно вздохнула старуха.

Женя молчала, что она могла в то время сказать брату, виновата перед ним. Но она его и не приглашала, пусть не знается, не берет стыд на себя, если уж такой стыдливый.

Дети росли, слава богу, здоровыми, с этим проблем не было. Украшали ее одиночество, заботы о них отвлекали от невеселых мыслей.

Потом стал ездить Коля. Он был чем-то похож на Степку внешне. Сероглазый, такой же тощий, сухой. Только в характере не было дурашливости, а все будто что-то решает и вот-вот откроет, что надумал.

И то ли воспоминания неприятные о Степке будил его вид, то ли потому, что она, уже два раза обжегшись, теперь не торопилась, он не сразу глянулся ей. Она не обращала на него внимания, хотя видела, что зачастил он к ним из-за нее. И все понимали это.

Но надо было, чтобы сначала появился Мосалов! Так, наверное, в судьбе записано, что не будет ей удачи. Вот Николай, сходись с ним, ищи счастье. Нет, надо было спутаться с Мосаловым, чтобы все так усложнить, что потом и самой не понять, как получилось.

Маленькая вредная черточка в характере Жени, как заноза в пальце, до того мелкая, что увидеть невозможно, а болит — не дотронуться. Если это уже есть, если это ее, то и торопиться нечего. Вот что сыграло в деле с Николаем решающую роль. Если зачастил, значит, никуда не денется, значит, мой. А если мой, то торопиться нечего.

И она до того почувствовала себя благополучной, словно не было ни Сережки,

ни Светки, словно начинала все сначала. А тут и Алексей «помог». Он тогда, на празднике, когда появились корреспонденты, шепнул ей, заметив, что Мосалов глаз с нее не спускает.

— Ты еще от этого не роди. И так детдом устроила.

Женю это подстегнуло. Потом Мосалов расправился с драчунами из соседней деревни, которые никому не давали проходу.

Нашло на нее. Вспомнилось зимовьюшко тети Тани. И захотелось на все махнуть рукой.

После пожалела. Было неоправданно глупо, походило на распущенность, в чем упрекал ее брат. Она возненавидела Мосалова за то, что он так мимоходом, что ему это потеха, а ей опять неприятность.

Спохватившись, заторопилась и с Николаем. Он, наверное, даже удивился, как все просто получилось. А она оказалась опять в дураках: открылась ему не такой, какой себя считала и была на самом деле. Но теперь уж что исправлять. Теперь уж она держалась за него двумя руками.

Лешка родился. Назвала его в честь брата. Так и сказала ему.

— В твою честь! Еще один Семенов Алексей.

Этого уже и носила, и рожала спокойно, вся Кырма знала — Николай ездит, и они вот-вот должны сойтись.

Да и вообще, привыкла она ко всему и ничего не боялась. Даже родных приучила к этому: не удивляться, если она и на этом не остановится и дальше будет рожать. Все уже махнули на нее рукой, и если бы она через два года никого не родила, вот тогда бы удивились.

Одно беспокоило Женю: частые за последнее время приезды Мосалова. Вбил в башку черт знает что, приставать стал — Лешку ему отдай. Если бы Лешка и на самом деле был его, и тогда бы она никогда не уступила сына. Потоптать дело легкое, на это ума много не надо. Ты роди да выкорми. А он сразу готовенького, будто у нее здесь фабрика: заказал — получи. Дудки! Многого захотел.

В одном она винит себя, не сказала раньше Мосалову о Николае. Знал бы он, давно бы ездить перестал сюда. А сейчас самое страшное, если начнет выяснять отношения, начнет перед Николаем заявлять свои права на Лешку.

Тяжело было Жене, тревожно.

Вчера мать будто бы видела Колину машину, что прошла в ту сторону, за скотом. Женя ей не поверила, он всегда хоть на несколько минут, да заворачивал. Старуха могла спутать, мало ли таких машин носится по тракту. На душе, однако же, было беспокойно — вдруг это он, вдруг и на обратном пути не заедет.

Привалихин сегодня отправил ее на кордон за метлами, заодно узнать, как у Костюковского идут дела с заготовкой сосновых шишек.

До кордона тридцать километров. Дорога плохая, на чистых местах перемело. Буксовали, пришлось поработать лопатой. Шофер посмеивался — Привалихин, как чувствовал, сам не поехал. Кое-как к обеду добрались. Юру дома не застали, подался за ерником для метел. Ждать пришлось около часа. Сидели в тепло натопленной светлой избе, пили чай. Угощала Лида, жена Юрия. И невольно позавидовала ей Женя. Как-то особенно уютно и беззаботно показалось у Костюковского. Все где-то в стороне, там в долине, где эта, днем и ночью не смолкающая дорога, где поселки, города, центры. А тут и забот меньше, и печалей, и тревог. И несчастье сюда не заглядывает, потому что несподручно ему, далеко. Живут они здесь спокойно, уравновешенные, приветливые. Юра шишки сосновые собирает, метлы вяжет, черенки заготавливает. В сезон охотится. Лида за скотом ходит, ребятишек растит. Никто им не мешает, ничто их не расстраивает. В этом, наверное, и заключается счастье. А Женя искала его в городе. Там много людей, разорвали на кусочки, растащили в разные стороны — ей и не досталось.

Как-то так представились Жене теперь ее поиски счастья. Если бы когда-то не увлеклась она городской жизнью, осталась в Кырме, была бы сейчас на месте вот этой Лиды. Прожила б на кордоне беспечально, безбедно. Знала бы одного Юру и горя не знала.

Между ней и Юрой теперь спокой-

ные деловые отношения. Они не вспоминают о школьной дружбе, хотя симпатии сохранились. Женя, сама того не замечая, выделяет его среди других лесников, и он к ней всегда приветлив, никогда слова насмешки над тем, как у нее сложилась жизнь.

С кордона вернулась уже в сумерках. Домой чуть не бежала, подгоняемая предчувствием, что Коля приехал. И точно, возле двора стояла машина. Сколько радости! Но тревожной — солнце светит с одной стороны, а полнеба затянуто черными тучами.

Коля возился с ребятишками. Мать уже готовила ужин, попрекнула Женю:

— Что-то ты сегодня вторую смену прихватила.

— Хорошо, третьей не досталось. На кордон ездила, дорогу перемело, еле добралась.

С Колей поздоровалась, как всегда, будто ничего не случилось. Но по голосу, по взгляду, по тому, как он поднял и опустил голову, догадалась — случилось. И сразу все смолкло и замерло в ней. Старалась не показывать вида, что догадывается, ведь можно и ошибиться. Быстро переоделась и, отстранив мать, приняла все хлопоты по дому на себя. Делала все машинально, заученно, а в голове расплавилось горячо и больно: как же все дальше повернется? Что же произошло? Неужели у Мосалова хватило подлости завести с Колей разговор из-за Лешки. Неужели он ее не пожалел, ведь просила же! И если разговор такой состоялся, то как поведет себя Коля? Поверил он Мосалову или нет? И что она, Женя, будет Коле отвечать?

Надо было всеми силами прятать, не показывать вида, так себя вести, будто все нормально, будто все как прежде. Устала только сегодня, как собака на охоте за зайцем, поэтому и невеселая.

Явились братья. Вечера длинные, дома сидеть скучно, и они всегда, только заметят скотовоз, приходят посидеть, узнать городские новости, о своих рассказать. Да, кроме того, Женя часто, для Николая специально, брала бутылку. Он пил мало, а братья уж тут были на подхвате. Алексей, тот в открытую признавался, что любит вино. Иван обычно сдержан, хотя ни разу не отказался, не отодвинул стакан — сегодня «не буду».

И сейчас, сажая Николая за стол, Женя спросила:

— Сто граммов выпьешь?

— Нет, не хочу, — отказался Николай. Он столовался не задарма. Бутылки Женя брала на его деньги, которые он оставлял ей для сына. Это началось с тех пор, как от него ушла жена, и он ни перед кем не отчитывался в зарплате.

— Ставь, выпьет, — живо откликнулся Алексей.

— Ты не целься, отдохни, — послышался голос Матрены Сидоровны.

— Сегодня не выгорит, — успокоила ее Женя.

— Ох, ох! Сразу в два голоса. Да и не нужно, — огрызнулся Алексей, хотя заметно расстроился.

— Вон до чего водочка довела, — опять, как в раздумье, голос Матрены Сидоровны. Она лежала в детской на своей кровати у печки и участвовала в разговорах, которые велись на кухне.

— Это не водочка, а дурость, — сердито отрезал Алексей.

— Что случилось? — поинтересовался Николай.

— Вы чаю выпьете? — обратилась Женя к братьям. Оба промолчали — без водки, какой чай.

Николаю ответил Иван.

— Пацан пятнадцати лет, пьяный, на тракторе по деревне ехал и зацепил парня санями. Ногу переломил, кость раздробил.

— Тот тоже, говорят, пьяный был, — заметила Матрена Сидоровна.

— Врут! — встрял Алексей энергично. Он все делал страстно, в противоположность брату, медлительному, степенному. — Я говорил с Семеном, они стояли вместе. Ваньке с велосипедом. Он еще велосипед отставил, а сам остался на обочине. Не думал же, что эта сопля пьяный едет. Но Венька трезвый. Семену-то что врать.

— Мог и соврать, не дорого взять,— не согласилась старуха.

— Ну вот! Я говорю, человек сказал, а она — свое.

— А как пацану трактор доверили?— удивился Николай. — Права же надо иметь.

— У нас тут чего не доверят, — проворчал Иван. — Работать некому.

— Дак это выход? — возмутился Алексей. — Он вот одного «уработал» и снова ездит, еще кого-нибудь. Дак Венька механизатор был, не чета этой зелени. А теперь будет год на костылях ходить. Да еще как дело пойдет, а то вон Сидор Хлопушин до сих пор с палкой. Не работник. Не заживает и все. Это такое дело.

— Да, конечно, порядка нет, — согласился Иван, — кто ж спорит.

— А все водочка, — опять голос Матрены Сидоровны. Все промолчали, как бы соглашаясь или не желая спорить с матерью, загодя зная, что в этом ее не переспоришь.

— Он пятнадцать лет и пьяный! — удивился Николай.

Алексей принялся рассказывать.

— Ну как тут у нас. Баба попросила дров притащить, хлыст из лесу. Притащил. Она не смотрит, сколько ему, наливает.

— Да не наливала она, — встряла Женя. Ей с такими разговорами легче, все отвлеклись, и она тоже забыла на время о том, о чем непрестанно думала. — У нас она работает, — пояснила Николаю и теперь уже посмотрела в глаза без страха, хотя что-то еще мешало, но Женя старалась не обращать внимания. — Говорит, денег пятерку дала, а он сам вина взял.

— Во! Понял, пятерку! — оживился Алексей.

— А ты как думал — полдня ездил,— встряла Женя в спор с братом.

— А так и думал, что ездил он на казенном, за это штрафовать надо, из зарплаты высчитывать.

— Да зачни штрафовать, все без дров сидеть будут, — не сдавалась Женя.

— Не будут. Не будут! — кипятился Алексей. — Порядок должен быть. При Назарове как было? Заплати в конторе деньги, и тебе дрова на дом привезут.

Женя знала, почему брат так возмущен именно этим беспорядком. У него нет такой возможности — зарабатывать пятерки, он не тракторист и не шофер. Поэтому и завидует другим.

— Ну а если не привезут?

— То-то и плохо, что как другой начальник, так и порядки другие.

— Не порядки, а беспорядки — вернее сказать, — вставил Иван, спокойно слушая перепалку брата и сестры. У них редко когда согласие, даже там, где, кажется, и спорить не из-за чего, и то повод найдут.

Стали обсуждать нового управляющего. Тут мнение было единым: управляющий никудышный. При прежнем было хорошо, теперь все расстроилось. Посылают начальников, не спрашивая людей, нравится им или нет. А между тем рабочим виднее, каков он.

Матрена Сидоровна заметила:

— Что ни говорите, а раньше народ умнее был — выбирал этих самых председателей. Если не так правит, соберутся мужики, да так мозги вправят, что он как шелковый становится.

— Да! — подхватил Алексей. — Так и должно быть. А то пришлют, он только одно знает — перед начальством выслуживается, только в ту сторону смотрит, о людях не думает.

— Умный, конечно, себя по-другому ведет, — не согласился Иван спокойно.— Тогда и уважать будут и за дело болеть. Как он к нам, так и мы к нему.

— Умный? Много их, умных-то? Сколько было. Назаров один ничего попался. Дак и тот, как только дела пошли — до свидания.

— Как же, ему надо выше выбираться.

Женя заметила, что у Николая пропал интерес к разговору, спросила:

— Тебе постелить, может?

— Да. Честно признаться, умотался я, — согласился Николай.

Братья засобирались домой. Женя приготовила постель, Николай лег. А она еще возилась на кухне: убирала со стола, мыла посуду и не спешила в спальню. Конечно же, как всегда, она соскучилась по Николаю, но опять вернулись недобрые предчувствия.

Вспомнила Костюковских, как у них хорошо, безоблачно, ясно. И дом светлый, на взгорке, вокруг веселый соснячок, родник в двух десятках метров от двора, даже зимой не замерзает. Лес, тишина, покой. И в отношениях их чувствуется лад и согласие. О таком семей-

ном уюте можно только мечтать. А тут сейчас Николай спросит...

Нехотя погасила свет и пошла в спальню. Устало разделась и легла в постель. Это всегда так, он должен позвать.

— Иди сюда, — услышала его голос и почему-то вздрогнула, хотя ожидала этого приглашения.

— Я думала, ты спишь уже, — ответила с готовностью.

— Жду...

Это был маленький спектакль, который они каждый раз разыгрывали, и он им не надоедал.

Поднялась, пошла с надеждой и страхом.

На улице мерзлая тишина. Даже тракт, черной лентой простершийся среди мерцающих под звездами снегов, молчит, будто где-то опустили шлагбаум. Поселок уснул, ни одного звука. Дом наполнен теплом и покоем. Женя прижалась к Николаю и замерла. Все желания удовлетворены, напряжения сняты, в теле сладкая пустота. И кажется, никого в мире, только они под мягким сводом тишины уснувшего дома. Тела их слиты воедино и дыханием, и боем сердец, и растворившейся в них нежностью.

Женя любила эти минуты. На некоторое время забыла про тревоги, про опасения. Николай гладил ее по голове неторопливым, размеренным движением. И прикосновение его руки вызывали в ней всплески тепла и радости.

Но вдруг рука остановилась.

— Слушай, в тот раз догнал меня ваш знакомый на «Жигулях», что на охоту сюда ездит...

Женя вздрогнула, перед глазами всплеснулся густой красный свет, в ушах зазвенело.

Сколько ждала этого разговора, и все равно показалось так внезапно, и так страшно, что сердце остановилось.

Николай продолжал, а она его уже не слышала. От окаменелости, что сковала всю ее, от страха, что это конец — ничего не могла сообразить. А под окаменелостью и оцепенением уже родилось и стремительно росло решительное, неудержимое раздражение — и выплеснулось:

— Дурак он!

Женя не помнила, как отстранилась от Николая, как поднялась и ушла на свою кровать, как в иступлении, в беспамятстве твердила:

— Дурак. Сволочь поганая! Я его, дрянь такую, на порог не пущу. Сволочь.

Надо было объяснить, что-то придумать, успокоить Николая, а она не могла сдержаться, в беспамятстве сыпала ругательствами.

Николай слушал ее неистовое бормотание и начинал утверждаться в мысли, что какая-то страшная для Жени, и в том числе для него правда на стороне пижона на «Жигулях», как он про себя окрестил Мосалова. И стало обидно. Ведь это нечестно со стороны Жени. Ведь он к ней с серьезными намерениями. Что же она уж до такой степени испорченная, что не может удержаться, есть один и еще надо? Ему нисколько не было жалко ее, напротив, наливался злорадством, замешанным на тупой горечи: «Самая настоящая распутная девка. Не зря же у нее трое от разных. Куда я попал? Еще жениться вздумал!..»

Невольно вспомнил, как оказался здесь.

Алексей пришел на базу, где загружаются скотом, просил шоферов перевезти сено. Там в то время было четыре или пять машин, но мужики все пожилые, и показали на него — он меньше устал. Николай согласился. Не деньги прельстили, что обещал Алексей, и не бутылка, которую ставят в таких случаях в знак благодарности, — настроение было, решил помочь.

Сено перевезли. Денег Николай не взял. А на Женю сразу обратил внимание. Узнал — одинокая, решил познакомиться ближе. Остался ночевать. На следующий день рано уехал, но уже не мог спокойно проезжать мимо. Как-то заглянул, не помнит, какую придумал причину. Дома оказалась одна Матрена Сидоровна. Встретила радушно, чаем напоила. Поблагодарил, спросил, может, что надо из города привезти. Старуха пообещала спросить своих. Обратно заехал и получил первый заказ: посмотреть валенки ребятишкам. Потом еще что-то. Так к нему привыкли, а ему нравилось у Семеновых: простые, приветливые. Но не будь Жени, он после того раза, как

помог перевести сено, не заезжал бы к ним больше. Женя увлекла. И это понятно: с женой жил плохо, а тут есть уголок, где можно отдохнуть от забот, от семейной, невыносимой тогда, обстановки.

Женя вскоре переменилась к нему, стала приветлива, обходительна. А дальше все пошло своим чередом. Они зажили, никого не стесняясь, ни братьев, ни Матрены Сидоровны, ни соседей, ни знакомых. На базе узнали. А там и до жены дошло. Вскоре она ушла от Николая. И правильно сделала: такая жизнь — не жизнь, а мучение.

После молчаливого ухода Жени Николай почувствовал себя чужим в этом доме, в этой постели. Только что они были свои, и вот уже их ничто не связывает и все неопределенно. Он для нее никто — ни сват ни брат, ни жених, ни муж. Чужой человек, что ездил сюда, занимался порочным делом.

То роднее никого нет, то сразу чужой, или больше того, чуть ли не враг.

Хотелось узнать правду, но что-то останавливало, не позволяло чинить допросы. Ведь если бы нужно было и возможно было, она бы сама объяснила без вопросов.

Странное его положение: жена ушла и с Женей ничего не получается. Может, в нем самом что зарыто? Почему ее вдруг потянуло к этому пижону? Почему с женой у него всегда сплошные ссоры были? Притом он старался отмалчиваться, она всегда нападала. Вспоминать не хочется.

У Жени характер золотой, но другое открылось...

И вместе с тем он рад, что узнал об этом. По-хорошему, пижона благодарить надо — открыл глаза, что собой представляет эта Женя. Если она такая, то и при совместной жизни всего можно ожидать.

И вообще, еще до Лешки, и до ухода жены от него, когда только начинал сюда ездить, его терзали сомнения, какая-то тревога. Женя пусть и нравилась, и все у Семеновых тоже, но ведь двое ребятишек!

Нет, он так не думал, эти сомнения навещали его сами собой, без его желания, помимо его воли. Но в них, понимал он, было что-то, от чего нельзя так просто отмахнуться.

Жена ушла не из-за Жени. Она бы и так рано или поздно ушла. Его поначалу пугало то, что она уйдет.

Но появилась Женя — и не стало проблем.

Он не виноват. Женя сама себе вынесла приговор.

Расстройство Жени незаметно перешло в равнодушие. Так бывает, когда устаешь переживать, терзаться. Все вдруг спадает, открывается голый пустырь, где ничего нет и ничего не надо. Стало безразлично: пусть уходит, пусть уезжает. От них от всех одни неприятности. На полтинник удовольствия, на сотню горя. Она не будет перед ним оправдываться, хотя он ей и по сердцу пришелся и жалко, если бросит. Пусть бросает. Время их рассудит.

Это чувство незаслуженной обиды, оскорбления и прежде посещало ее. Не приносило выгод, скорее вред, но питало гордость, успокаивало, утешало. Она так же ушла когда-то, отказалась судиться с Иваном, доказывать, что он отец Светки. Пусть его совесть мучает. Не захотел признать дочь, не надо. Насильно — это уже не отец.

И сейчас на Николая обиделась той же обидой, хотя он только передал ей то, что сказал ему Мосалов. Но ясно — заподозрил ее.

И не будет она перед ним оправдываться потому, что это оскорбительно, и потому... что, может, Мосалов и прав.

Она не пожалела горбатенькую, Мосалов не пожалел ее. Вот так все и идет в жизни. Даже в этом, даже в любви, все норовят друг у друга урвать, обмануть. Противно.

Вспомнила Костюковских. Но как-то недобро вспомнила, с нехорошей завистью и злостью. Уж больно у них безоблачно. Захотелось, чтобы их постигло горе, она была бы рада. Почему им столько счастья, а ей одно горе.

А все от легкомыслия. Когда-то не придавала значения, будто случится и забудется, пройдет. Ан нет. Каждый из бездумных поступков выливается в неисправимое, уводит жизнь куда-то на пути тяжелые и, главное, безвозвратные.

Сама виновата. У того же Костюковского хватило ума никуда не уезжать,

не искать призрачного счастья, остаться в родных местах и быть счастливым. А она искала особенное...

Сама виновата во всем.

Утром встала раньше обычного. Делала все в какой-то спешке, как в лихорадке. Скорее управиться и убежать из дома, даже если не на работу, то куда угодно, только отсюда, от Николая.

И странно, все время стояла перед глазами светлая изба Костюковских в лесу, на пригорке у родника. Не стояла, а время от времени возникала и пропадала. Как мигающий свет, напоминающий о чем-то потерянном. Только там мог быть покой и отдых от всего, что здесь происходит, что вообще происходит с ней...

Николай проснулся, Жени не было. Это его не обеспокоило. Хотя, конечно, надо было извиниться. В чем, он и сам не знал. Ее молчаливый уход мог значить, что она обижена незаслуженно, а объясняться не станет, потому что не в чем ей объясняться.

Матрена Сидоровна пригласила к столу, накормила и тоже почему-то молчала. А он с тем же чувством, что ест чужой хлеб, что чужой человек в этом доме, наскоро выпив чаю, заторопился уезжать. Зашел в детскую проститься с ребятишками. Испытывал странное чувство вины и боли, будто в чем-то обманул их, в каких-то ожиданиях. Они показались ему беззащитными, всеми брошенными, словно не было ни старухи, ни Жени, и оставались они не дома, а на дороге, по которой добираться будет очень нелегко. А он, проезжая мимо, не хочет им помочь.

И как это ни странно, вместе с тем чувствовал он какое-то облегчение, которое старался не замечать, стеснялся его, но оно было!

Только Лешка. Только в этого пацана он вглядывался с особым вниманием. А если он все-таки его сын, как утверждает Женя, тогда как? Тогда нет Николаю прощения!

Но тут же являлся пижон, и получалось, что Лешка мог в равной мере быть и его, того пижона.

— Что вам привезти из города?

Блестя от радостного возбуждения глазенками, ребятишки отворачивались, стесняясь, скрывая, что есть у них что заказать, да только мамка строго запретила им это делать — попрошайничать. Лешка только на правах своего, на правах сына, посмотрел на него желтыми, узкопосаженными глазами открыто и смело, от наивности и непонимания запретов, сказал:

— Тлактол плывезы.

— Хорошо, постараюсь плывезти тебе тлактол. Всем что-нибудь плывезу, — пообещал Николай, неуверенный в том, что когда-нибудь сюда еще заедет.

Старуха молчала. Он попрощался и вышел.

Проезжал мимо лесничества, но если дома не могла переговорить, то что здесь, мимоходом, пытаться.

И он проехал, не останавливаясь.

Привалихин сидел в кабинете, что представлял собой отгороженную часть конторы. Перегородка не доходила до потолка, и в этом была вся особенность; все, что говорил лесничий, слышали те, кто находился в конторе, но не вмешивались. Лесничий, как бы в шутку, запретил им это делать, не любил, когда «подслушивали». Если в ком нуждался, вызывал того к себе за перегородку.

Это было похоже на театр, где вместо декораций стоят таблички с обозначением того, что надо изобразить. «Кабинет лесничего», возле этой таблички сидит Привалихин, беседуя с кем-либо, а находящиеся рядом Женя и техник-лесовод Вовка делают вид, что не слышат этой беседы — закон сцены. В данном случае это был закон Кырменского лесничества.

Привалихин — человек веселый, все делал с улыбочкой, с беззвучным смехом. Смех у него всегда сверху. До расстройства, до зла надо докопаться, оно спрятано глубоко и появляется, когда на его месте кто-то другой давно бы раскалился от досады.

Смех не всегда от смешного. Над одним и тем же одни смеются, другие презрительно кривят губы. Для людей мрачных — смех что в период дождей ясный солнечный день — необычайная редкость. Да и то не понять, улыбается такой человек или что кислое в рот попало. У

других же будто кто под мышками щекочет. Эти люди счастливы, им живется весело.

Есть смех от насмешливости. Смеются от сознания, что кому-то плохо. Злой смех.

У Привалихина добрый: «Вот мы сейчас и разберемся, а ты как думал?» или — «Да, парень, глупость получилась, что ни говори. Ничего не остается делать, как посмеяться». И прочее.

С таким же смехом и кабинет был принят от предшественника. Бывший лесничий любил заглянуть в бутылку, не выбирая времени. И чтобы как-то отгородиться от подчиненных, устроил кабинет. Досок не хватило до потолка зашить, как получилось, так и ладно. Но окно теперь в кабинете было одно, не четыре, как во всей конторе, можно завесить его и заниматься своим делом. Ни с улицы, ни со двора не увидят. А если в контору зайдут, успеет все спрятать.

Больше всего предшественник Привалихина боялся жены, которая и на работе не давала покоя. «Хорошая жена, — шутил потом по этому поводу Привалихин, — работает в деле воспитания выпивох лучше, чем все общественные организации вместе взятые».

Вначале Валентин Иванович посмеивался над кабинетом, но ничего переделывать не стал. В таком кабинете, как понял он, было свое преимущество: он слышал, что говорили в конторе. Мог любого пригласить к себе, не поднимаясь с места. И при этом был отгорожен от всех, никто не видел, чем он занимается: или напряженно работает, или смотрит в окно, или дремлет. Только не храпеть, а остальное все шито-крыто.

А главное, свое назначение эта перегородка, именуемая кабинетом, все же выполняла. Он мог сказать: «Зайдите ко мне», и это означало не в контору, а в кабинет, то есть «на ковер», где разговор будет серьезный.

Привалихин позвал Женю. Они были вдвоем. Она машинально, не отрываясь от своих мыслей, пошла к нему. Пока лесничий искал какую-то папку, а в ней нужную бумагу, она, отвернувшись, смотрела в окно.

Последнее время Женя ходила, как в воду опущенная: молчаливая и покорная. Ни на работе ни дома никому слова поперек. Только временами отрываясь от работы, что в этот момент делала, застревала в вязких, беспросветных мыслях, замирала, уставившись в одну точку. И кто в такие моменты обращался к ней, не сразу мог ее дозваться, достучаться до ее сознания. Словно проснувшись, вздрагивала, отвечала не сразу, с трудом соображая, что от нее хотят.

Уже больше месяца не показывался Николай. Уехал, не простившись. И хотя ясно все было, но Женя еще на что-то надеялась.

— Вот это же ты заполняла? — указал Привалихин на листок, исписанный ее почерком. Женя не слышала его, Валентин Иванович рассмеялся. — Шахматистка! Задачки решаешь?

От непривычного слова Женя вздрогнула и посмотрела на лесничего осмысленно. А Привалихин зашелся в беззвучном смехе.

— Что вы сказали? — покраснела Женя.

— То-то же! Шахматистка, говорю.

— Почему?

— Потому что думаешь о чем-то, как в шахматах над трудной задачей.

Женя сконфузилась. Ей было стыдно не потому, что Привалихин сделал замечание, а что у нее опять голова другим занята, опять неприятности. Не может выпутаться, не может наладить жизнь.

— Что случилось, может, помогу? — спросил Привалихин. — А? Что молчишь?

— Нечего рассказывать, — неохотно буркнула Женя.

— Женитьба разладилась?

Женя с удивлением посмотрела на него и тем себя выдала. Привалихина это еще больше развеселило.

— Угадал!

Женя раздраженно молчала.

— Ну что, угадал?

Он рисковал, приставая к ней с расспросами, она могла и рассердиться. Поэтому, хотя и смеялся, хотя и шутил, но следил за выражением ее лица внимательно.

Женя еще больше покраснела, черные большие глаза потемнели, из печальных сделались злыми. Пересилив себя, спросила:

— Чего вызывали-то?

Привалихин приступил к делу. Теперь улыбка была повседневной деталью на его лице, в ней появилась пустота и бесцветность.

Разобравшись в бумагах, ответив на вопросы, Женя вышла из кабинета.

Привалихин погрустнел. Он без дела пригласил Женю: хотелось переговорить с ней, отвлечь от мыслей, которые, видел, гнетут ее. И теперь думал о том, что последнее время не давало ему покоя. Явилось оно как-то само собою. С некоторых пор стал замечать, что интересуется Семеновой. Почувствовал, что жизнь, которую прожил и живет сейчас, вообще-то довольно скучная и однообразная. К жене никогда особых чувств не испытывал, жил с ней так, словно сухую кашу без соли и масла глотал и давился. Сын вырос, женился, и ничего не случилось, не переменилось.

Ему стыдно признаться, но в Жене сначале увидел только молодую красивую женщину, одинокую, которая ни с кем не была связана, ни от кого не зависела и поэтому могла позволить себе все, что заблагорассудится. Появилась несмелая мысль, а почему бы за ней не поухаживать? Он думал об этом, волнуясь и боясь, что кто-то догадается о его мыслях, даже сама Женя. Успокоившись, удивлялся, откуда к нему такое пристало, молодым был — ничего подобного за собой не замечал, а тут за полста перевалило, и нашло. Но как ни странно, чувствовал он себя в это время живее, интереснее. Будто разогревали, вдыхали в него новые силы, даже надежды, мечты. Возникала радость ни с чего.

Постепенно все переросло в другое качество: выше и лучше, чего уже можно было и не стесняться. Он пришел к убеждению: добиться успеха легко, не связывая себя никакими обязанностями, не получится. Стал думать об этих обязанностях, так ли уж они страшны? И пришел к заключению — ничуть! Доводы простые: живет он один раз, зачем же, если этого так хочется, сдерживать себя? Чего ради? Сын взрослый. Жене он больше нужен, чтобы за хозяйством смотреть, дровами обеспечивать. А нужно ли ей хозяйство? Пусть переходит к сыну и живет.

А тут что-то новое, молодое, такое, которое ему не встречалось еще в жизни ни разу.

В мыслях и планах он уже далеко зашел. Развелся со своей старухой, жил с молодой женой, был счастлив. Ребятишек он любит, трудностей не боится. Всем он объявил, всех убедил, почему так поступает. Поймут его, не поймут — не важно, на всех не угодишь. Даже сына, кого больше всего стеснялся в этом деле, он уговорил, вымолил прощение. Оставалось главное — приступить к исполнению того, что старательно продумано...

Это оказалось намного тяжелее. Женя на его несмелые ухаживания не обращала внимания. А на серьезный разговор, откровенный, он никак не мог решиться.

Летом праздновали день рождения. Выехали на лужайку несколько лесников, Женя, техник. Когда остались одни, он между прочим вплел в разговор, что прожил с женой и вспомнить нечего. Давал понять, прожил без любви. Но Женя не поняла или не пожелала понять. Разговора не получилось.

О шофере, который ездил к Жене, Привалихин слышал. Но не верил, что тот возьмет ее с тремя ребятишками. Шоферы — народ проезжий, сегодня — здесь, завтра — там. Они всегда ищут теплый бок, где есть возможность погреться. Хотя и говорили, что собираются сходиться, но ведь не сошлись. Не ездит он больше.

Ревновал ли Привалихин ее к этому парню? Да! Но больше возмущался, что она зря надеется — это очередной обман. И только он, Привалихин, если она пожелает, конечно, готов сделать ей серьезное предложение.

В его мыслях это теперь получало какую-то даже благородную окраску — он спасает молодую женщину от дальнейшего падения.

Привалихин встал и подошел к окну. Еще вчера, прорвавшись откуда-то сверху и словно оказавшись в клетке, носились, бесновались метели. Возникла такая кутерьма, такое снежное месиво, что не только гор, леса, соседних домов не видно было. А сегодня — пожалуйста — успокоилось, расчистилось. Открылся отменный вид на горы.

Вначале чистая безлесая белая рав-

нина с клочками берез, что жиденько темнеют кронами, упирается в широкую полосу предгорной тайги. Выше встают силуэты, подернутые синим маревом темно-голубых вершин с белым огнем снега у самых пик.

Все открыто, все величественно.

Нравится ему в Кырме, поэтому и согласился переехать сюда. Он страстный охотник, а такую охоту, как здесь, редко где встретишь. И ягодами богат лес, и грибами.

Смотрел на горы с непонятным чувством грусти и радости. Последнее время все в его жизни сошло с места, стало непривычным, интересным. Прежде такого не было. Даже вид гор: он ему всегда нравился, но не волновал. Валентин Иванович любил смотреть на них, но думал в это время чаще об охоте, о тайге, что раскинулась по предгорью — там охотничьи угодья. Сейчас его вдруг потянуло забраться на снежные вершины. Странное желание. Чтобы подняться туда, надо преодолеть десятки километров на лыжах, а потом в крутяки пешим порядком. Немыслимое дело. Да и какой из него альпинист, на первом подъеме голова закружится. Но это желание не было из ряда реальных, которыми он уже долгие годы жил. Это были юношеские мечты, когда ясна несбыточность их, и все равно принимаются они с дерзкой серьезностью.

Валентин Иванович радовался этому и боялся. Было во всем что-то запрещенное, непринятое, необычное, как сказали бы раньше — грешное. Но, наверное, эта необычность, кроме всего прочего, тоже добавляла волнения, и он был почти счастлив.

Из затененности кабинета не так ярок свет мартовского дня. Зато на улице сейчас — солнечные лучи, ударяясь о снежную белизну, отсекаются и изломанными кусками больно ранят глаза.

Привалихин отвернулся от окна.

— Валентин Иванович, — послышался голос Жени. — Можно мне два дня без содержания взять?

— Куда это?

— В город съездить.

— Что там забыла? — Привалихин вышел к ней.

— Ребятам кое-что купить.

— Заказывай, я поеду, привезу.

— Нет. Мне самой надо.

— Езжай, — разрешил Привалихин, испытывая чувство ревности, словно догадываясь, зачем ей нужно в город. Отпускал и мучился незнакомой мукой: не помнит, чтобы раньше что-то подобное было с ним.

— Спасибо большое, — с откровенной радостью поблагодарила Женя.

Ей хотелось на несколько дней вырваться, отвлечься, развеяться. У Катьки побывать. И, может, даже Николая навестить.

Это главное — что тянуло ее туда. Надо переговорить с ним откровенно, пусть решает. Было даже намерение попросить прощения, покаяться в своем грехе. Она уже столько раз сожалела, что не сделала этого тогда, сразу, не переговорила спокойно, не рассказала, как все получилось с Мосаловым. Если бы Николай и после этого не простил, тогда бог ему судья. А так получается, что она будто молча созналась в своей вине, которая за ней в такой мере и не водилась.

С Катькой Женя не виделась три года. Тищенко уже вышла замуж за того самого Димку-молчуна, что когда-то ходил к ней пьяненький. Успела родить дочку и даже будто, как сказала баба Поля, немного поумнела: бросила пить и materиться.

Жили они с Димкой в отдельной квартирке — четверть домика. Катька располнела, обабилась и потеряла ту привлекательность, которую имела в девках.

Димка пил так же, и для Катьки теперь это было горе. Она ругала его и даже била пьяного, когда он не мог дать сдачи.

— Пьянь несусветная, — жаловалась Жене. — Сегодня опять приползет на карачках. Ну пусть только попробует!

Но в угрозе не слышалось прежней неоглядной решительности, чувствовался надлом и неуверенность в том, что она что-то сможет сделать.

Решили сходить в гости к тете Тане. Дочку Катька не хотела брать: задержатся, уснет, потом сонную тащить. А оставить, если Димка придет пьяный, не на кого.

— Надоело, слушай, — жаловалась. — Еще посмотрю, если не перестанет, вы-

гоню к такой матери. Или брошу все и в Воронеж — хрен догонишь, — рассмеялась вдруг. — Да! — воскликнула, преобразившись, из злой моментально превратилась в веселую. Голос перешел на верхние ноты: — Ваня твой опять выступил. Но на этот раз погорел бедняга. У нее брат в милиции работает, свидетелей собрал, и двадцать пять процентов восемнадцать лет Ваня будет платить. Не понравилось, сразу умотал. Куда-то в Зиму подался. Да от алиментов не убежишь. Жена здесь осталась. — И опять возмущенно: — Не пойму я ее, как с таким жить. Доведись до меня... — И осеклась, вспомнив о выходках Димки, с которым ничего не могла сделать.

Женю, несмотря на то, что все было в далеком прошлом, новость расстроила. Даже странно, она будто приревновала эту девчонку к Ивану. Жену, горбатенькую, не ревновала, а эту почему-то, как соперницу, приревновала. И не потому, что она высудила алименты, а Женя, как выразилась Катька, осталась «на бобах», а вот именно потому, что разделяла с ней Иванову «любовь». Иван Жене больше всех нравился. И если бы сейчас, несмотря ни на что, позвал ее или пришел к ней, не нужен был бы ни Николай и никто. А Катька потому так злится на Ивана, так злорадствует, что когда-то он выбрал Женю, а не ее. Она готова была встречаться с ним, а он посмеялся над ней и пошел за Женей. Катька до сих пор не может ему этого простить.

Дела минувших дней, только от дел этих дети растут.

В разговоре выяснилось — помощником лесничего у них работает Синицын. Женя вначале не обратила внимания, а потом все же вернулась к этой фамилии.

— Его как зовут? — спросила она.

— Георгий Викторович.

— Такой черненький, немного на бурята смахивает?

— Да, полубурят.

— Я с ним училась. Он еще за мной бегал.

— Да! — шумно удивилась Катька — Ну, погоди, я ему скажу... Жлоб он, такой жлоб, такая вонючка! Указывать мне пытается. А сам, веришь, все под себя гребет. А куда? Детей нет, вдвоем живут. Барахла понавезла на двух машинах. Лесничий на пенсию уходит, Синица его место готовится занять. Да, наверное, и поставят. Вот такие новости. — К концу новостей она поскучнела, о чем-то задумалась. — А как у тебя?

Женя скупо рассказала, как живет. Но о своем третьем, об истории, связанной с ним, умолчала.

— Вырастут! — опять оживилась Катька, когда Женя сказала, что ребятишки растут здоровыми, не болеют. — Светке уже шестой? Не успеешь оглянуться, как замуж надо собирать. Сейчас быстро.

Наконец приплелся Димка. Был он пьян, но не сильно.

— Ну, да ты у меня сегодня человек! — всмотревшись в мужа, определив его состояние, зашумела обрадованно Катька.

Димка молчал, готовый к ссоре, раздеваясь у порога, проворчал:

— Как всегда.

— Ну не смеши! Всегда-то ты еле через порог перелазишь. С деньгами, наверное, подсос?

Димка молча мылся. Когда Катька объявила программу вечера, он не согласился, сказал, что тоже пойдет с ними.

— Зачем ты там нужен? — заголосила Катька — Одни бабы соберутся. Нам, может, о своем поговорить хочется.

Но он не уступал. Женя удивилась его капризу, настырности. Для нее было неожиданностью, что молчаливый, со всеми соглашавшийся когда-то Димка вдруг стал таким неуправляемым.

Катька бегала по комнате, собираясь, и гудела, гудела — на улице слышно было — ругала мужа. А он больше молчал, но не соглашался. Так, не договорившись, они и бросили его. Да еще вдобавок девочка расплакалась, запросилась с мамкой. Кое-как удалось сбежать.

— Смотри, вернусь, дитя будет недогляженное, получишь, — пообещала, уходя, Катька.

Димка даже не повернулся к ней.

— Гном, — уже на улице выругалась Тищенко, имея в виду маленький рост мужа. — Дура я, дернуло меня за него замуж идти. Надо было кому-нибудь стоящему дать, дак хоть человек бы вырос как человек. Мышиная порода. Тьфу! Вот посмотришь, припрется следом, — заметила она.

В магазине Женя хотела взять одну бутылку вина, но Катька, сунув ей деньги, заставила брать три.

— Будешь потом бегать, — сказала решительно.— Гулять дак гулять, нечего мелочиться.

Женя не стала спорить. У Катьки в этом деле большой опыт.

Тетя Таня выглядела плохо. Под глазами темные круги, лицо серого цвета, у губ болезненная складка. Совсем не обрадовалась подругам, и тому, что пришли с вином. Пить не собиралась. Даже баба Поля, всегда терпеливая к разгулам Тищенко, в этот раз была недовольна их бражным настроением. Но постепенно все расшевелились. Тетя Таня не удержалась, выпила. Лицо покрылось нездоровым румянцем, глаза лихорадочно заблестели. Но говорила мало, связанная тяжелыми мыслями.

Вскоре, как и предвидела Катька, пожаловал Дмитрий с дочкой. Девочку с удовольствием взяла под свою опеку баба Поля. Катька ругала мужа.

— Вот какого ты хрена приперся? Кто тебя приглашал? У нас, видишь, одни женщины.

— Оставь его, — заступилась старуха. — Пришел, дак пусть гуляет.

— Я же говорила, сиди дома, — не унималась Катька. — Нет, назло! Всегда делает назло. Маленький, а такой вреднющий. У-у!

— Заткнись, — спокойно заметил Димка.

Женя опять удивилась происшедшей в нем перемене. Когда он еще только ухаживал за Тищенко, Катька могла над ним потешаться, прогнать его, он не подавал звука. Теперь же в нем появилось какое-то озлобленное упрямство — делать все наперекор. И Катька призналась, побаивается, если он не пьяный — больно дерется, норовит ударить со всей силой, может и калекой сделать.

Женя слушала подругу и ей становилось легче: собственные беды казались не такими уж и страшными. Если так жить, как живут Катька с Димкой, то лучше вообще без мужа.

— Я вот смотрю и думаю, Жене легче, — высказала ту же мысль и баба Поля.

— Да выгоню я его к ядрене-фене,— загудела Катька. — Еще раз пьяный придет — и до свидания. Понятно тебе, сосун? — обратилась она к мужу.

— Почему сосун? — удивилась Женя.

— Сосун! — закричала Катька со смехом. — Это его так мужики прозвали, потому что он из бутылки сосет.

Все рассмеялись. Баба Поля заметила:

— Друг на друга будете лаяться — жизни не будет. Надо жить в согласии.

— Точно, бабушка, — удрученно согласилась Катька. — Как собаки, как собаки. Грыземся и грыземся. Опротивело. Брошу все и тоже пить стану.

Дальше этого разговор никуда не уходил, все вертелся возле Катькиного «семейного счастья». И никто, особенно сама Катька, не обращали внимания на то, что Дмитрий сидел здесь же и все слышал, но в разговор не вступал. Этим был похож на прежнего Димку-молчуна. Только теперь не улыбался, а презрительно кривил губы.

Ночевать, по старой памяти, Женя осталась у тети Тани. После ухода гостей тетя Таня сразу легла спать. Женя с бабой Полей еще долго пили чай.

— Хоть она и говорила мне, что для того, чтобы выйти замуж, надо головой работать, да только что-то не видно той головы, скорее наоборот, — заметила старуха, имея в виду Катьку.

— Такая отроду, не переделаешь, — поддержала Женя. Она думала о Жоре Синицыне. Когда-то он за ней ухаживал, интересно посмотреть на него сейчас, каким стал. Не нравился он ей тогда. У нее даже настроение портилось, злиться начинала, когда он приходил к ним. А как можно переломить себя, оправдывалась она теперь. Нет, тут не было с ее стороны ошибки. Тоже не жизнь — выходить за того, кого терпеть не можешь.

— Ребятенка жалко, — продолжала рассуждать старуха. — С такими родителями какая она вырастет, эта девчушка.

— Они скорее всего разойдутся. Катька серьезно мне говорила, собирается разводиться.

— Лучше бы они вообще не сходились. У нее все-таки немного не хватает, хотя она и винит во всем Димку. Как при людях такое нести на него. Это до любого доведись, мстить будет... Хотя и

Дмитрий вроде не на ту колодку сробленый. А посмотришь, они не так и глупы. Напускают на себя. — И помолчав: — Умнее их раз в десять ужиться не могут, а этим и бог велел.

На следующий день Женя встала поздно. Проснулась, как всегда, но вставать не хотелось, лежала и, как мать говорила, лень грела. Это и был отдых. Она чувствовала себя, словно на курорте. Никогда не ездила туда, но слышала, рассказывали, что там так вот — никаких забот. Вернее, заботы сейчас были: хотелось повидать Жору Синицына, надо было решиться — ехать к Николаю или нет. И еще много чего такого, только все необязательное, за что ни перед кем отвечать не придется. Сама решала, нужно ей это делать или нет.

Утро выдалось метельное. Над окном что-то позвякивало — хороший хозяин давно бы прибил. Но в этом доме хозяина не было. Поскуливал ветер, скребся о стекло снег. Мутный рассвет с трудом продирался в комнату.

Женя не слышала, как ушла на работу тетя Таня. Баба Поля готовила завтрак, по дому разносились запахи жареного сала, вареной картошки и еще чего-то молочного. Надо было встать, помочь старухе и вместе с тем наслаждалась, ничего этого можно и не делать.

Она уже не помнит, когда у нее было такое беззаботное утро. Каждый день — и в рабочие и в выходные — с шести часов она на ногах: готовит завтрак, варит свиньям, доит коров, кормит их, убирает, собирает Сережку в школу и еще много всего, что ложится на ее плечи — заботы, хлопоты каждый день. А сегодня, как праздник.

Наконец встала. Долго умывалась, утиралась, рассматривая себя в зеркало. Вчерашняя пьянка не замедлила сказаться: глаза заплыли, на лбу морщины, которых раньше не замечала или не обращала внимания, у рта усталая складка старила лицо, делала выражение брезгливым.

Принялась старательно массажировать, разглаживать кожу. Но вскоре махнула рукой — днем все встанет на место, просто больше чем обычно повалялась.

Старуха поставила яичницу, вареную картошку, чай с кипяченым молоком. Женя есть не хотела. Попила чаю без молока покрепче. Поблагодарила бабу Полю, пригласила к себе в гости, заранее зная, что она никогда не соберется. Старуха так ей и ответила, попросила только, если можно, передать несколько литров облепихи на варенье. Женя пообещала — облепихи у них много.

Тищенко была на работе. Вид имела, мягко говоря, неважный. Стала жаловаться и не удержалась, завыла дурным голосом. Вчера, когда шли домой, поссорились, и Димка хватил ее чем-то тяжелым по голове. Подкрался сзади, как бандит, и стукнул.

Она упала и пролежала минут двадцать без памяти. И дочка возле нее все это время. А он ушел, завалился спать. Катька заявила в милицию, должны забрать.

— Все! Конец нашей совместной жизни, — решительно объявила она. — Хорошего понемножку. Больше я его на порог не пущу.

Голова у нее была забинтована, но под платком не видно. От ушиба под глазами черные кровавые подтеки. Говорила плаксивым голосом. А то вдруг загоралась злостью и начинала крыть мужа последними словами. Обещала устроить ему такое же.

Жене не столько было жалко ее, сколько стыдно. Пока шли к вокзалу, казалось, прохожие оборачиваются и смотрят им вслед. Уже, наверное, полпоселка знали об этом. Скорее уехать отсюда.

Синицына Женя так и не увидела. Он с самого утра подался в лес. Может, и к лучшему. Что бы дала ей эта встреча? Ну Синицын, да и Синицын. Давно это было, он, скорее всего, уже забыл ее вовсе. А если даже помнит, что из того? Здравствуй, я Женя Семенова. Пятнадцать лет прошло, кому сейчас это надо?

Катька оставляла погостить.

— Теперь этого чудака заберут, можно будет свободно погулять.

В ответ Женя печально улыбнулась:

— Какая уж теперь гулянка?

Как ей раньше это безобразие нравилось? Куда она раньше смотрела? Нет, поскорее отсюда и от Катьки, и ото всего, что было в этом поселке. Нечего вспомнить — одни неприятности.

В городе прошла по магазинам, при-

смотрела кое-что ребятне, чтобы не возвращаться с пустыми руками. Светке платьишко, Сережке ботинки — скоро лето, а им ходить не в чем. Растут, приходится больше тратиться. А теперь уж тратиться придется одной — все женихи в бегах.

Тяжело ей было в городе, где когда-то училась, была молодая, и как все молодые, ни о чем не задумывалась, ничего не боялась. Все у нее тогда было впереди. Жизнь казалась сплошным развлечением. Если и встречались неудачи, сбои, то это дело временное, считала тогда она.

Какие у нее были неудачи? Зачет не сдала. Тройку по лесоводству получила. Нет, по лесной таксации, а это основной предмет. У подруги куртка модная появилась, у нее такой не было.

Игорь Дмитриев, оказалось, дружит с другой девчонкой.

И все. И все беды. И это до тех пор, пока не получилось у нее со Степкой. После этого все пошло вкривь и вкось. Разъехалось, сместилось, и никогда больше не вернулось к прежнему.

А теперь, через пятнадцать лет, жизнь ее, как губка, впитала в себя одни неприятности, омрачилась, потускнела, потяжелела и, главное, никаких надежд не оставила, никакого просвета впереди.

Горожане толкались, смеялись, болтали. Глядя на них, Женя почувствовала зависть. Она у нее еще с той поры.

«Будь я здешняя, — думала Женя, — а не из Кырмы, с конца света, имей городскую квартиру, и у меня бы все сложилось нормально. Женихи бы не выпендривались, относились с уважением».

И тут же здравым рассудком, который через силу, но все же выкарабкивался из-под обидчивых рассуждений, понимала: в своем несчастье нечего винить город, горожан — виновата в нем она сама.

После долгих колебаний решила заехать к Николаю. И сколько добиралась, ища улицу, а потом дом, по оставленному им адресу, все прикидывала, примеряла, как будет говорить, как объяснит и то, как она у него оказалась, и то, о чем не захотела тогда в Кырме рассказать. И все получалось, что ей хотелось оправдаться, предстать перед ним невинной. Поэтому, озлясь на самое себя, подумала — скажет правду, как было. Или ничего не объяснит, обругает, как бы Катька сделала, повернется и уйдет.

Там, в Кырме, было легче с ним разговаривать. Здесь же она в гостях, в чужом доме, в городе, от которого давно отвыкла.

Наконец нашла квартиру. Еще раз по адресу сверилась, чтобы не попасть впросак. С замиранием сердца позвонила и застыла, затаив дыхание, слушала, кто отзовется с той стороны. А вдруг там уже женщина у него. Может, жена вернулась. Или он и не расходился, обманывал ее.

Но за дверью было тихо. Позвонила настойчивее, решительнее.

И после этого никто не ответил.

Шла, сомневалась, готова была повернуть обратно в любой момент, теперь же охватила досада, добавилось смелости. Не верилось, что так и не увидит его, не узнает, в чем дело и как дальше будет. Не согласилась, что на этом все кончено. Эта давно некрашеная дверь стала непреодолимой преградой между ней и Николаем. Не помешай Мосалов, она была бы хозяйкой этой двери. Выкрасила бы ее, в квартире порядок навела и ждала Колю, выглядывала, когда он вернется из поездки. Свершилась бы ее давнишняя мечта — она стала бы горожанкой. Так все было близко. Только сейчас почувствовала, как было близко. Аж больно стало, аж слезы навернулись.

Позвонить соседям не осмелилась. Могут спросить, кто такая? Какое имеет отношение к нему?

Никто она ему не такая и этим все кончено.

Расстроенная, медленно спустилась с третьего этажа. Отошла от дома, оглянулась на окна, занавески давно не стиранные — один Коля живет.

Повернулась и пошла к автобусной станции. Все! Как Катька говорит — п.....ц! Хватит счастья искать, пусть оно ее ищет.

И в автобусе не стало легче. Чего она хотела, отправляясь в эту поездку, не получилось. Вместо облегчения, отрешения от забот, везла ту же тяжесть, а то, может, и большую. У Катьки было не весело, безобразно, некрасиво, плохо. Ког-

да в девках «выступала», это еще как-то можно было оправдать, объяснить дурашливостью. Надо будет, и она станет другой, будет у нее не хуже, чем у людей. Но вот пришло время, вышла замуж, а то, что было, не отпало, не изменилось. Такая же и все так же. Только теперь это уже не шутки — смеяться не над чем — теперь это серьезная и безобразная жизнь. Поэтому жалко Катьку, а заодно и себя, потому что это ее, Женина, подруга, вместе в девках гуляли, как бы, из одного гнездышка выпорхнули. Выходит, и у нее, у Жени, столько же ума.

Ничего хорошего из того, что у них там, у тети Тани, было, получиться не могло и не получилось. И она жалеет теперь, что не ушла тогда, как собиралась. Для того, чтобы найти хорошего парня, надо было вести себя, как подобает. Счастье надо заслужить, оно даром не дается.

Катькино тогдашнее бесшабашное поведение и теперешняя безобразная семейная жизнь связаны между собой, одно вытекает из другого. Катька не может оставить тех замашек, а Димка не может простить ей прежнего, что путалась с кем попало. Ревнует он ее к прошлому и ненавидит. Точно, ненавидит. Так бить может только тот, кто ненавидит.

Женя вспомнила сейчас и Ивана с презрением и стыдом. Не было в их отношениях ничего хорошего, кроме грязного, неприличного. И то, что он ей дал, о чем она одно время с удовольствием вспоминала, теперь представлялось развратом, и ничем больше, которого, если бы она ушла тогда от Катьки, можно было бы избежать. Ведь в таком случае она вела бы себя скромнее, и в мыслях не было бы того распутства, что появилось тогда под влиянием непрерывных кутежей. И подкатись Иван к ней в другой обстановке, она бы его скоро отшила. Не было бы ненужной бесшабашности, желания брать от жизни все, как проповедовала Катька. И постеснялась бы и побоялась с семейным связываться, у которого жена и дети. Ведь стыдно ей было тети Тани и бабы Поли, только перед Катькой, как бы в пику ей, хвасталась своими «успехами».

Опоздавшее прозрение нашло на Женю. А с ним и стыд.

А может, судьба, подумалось. И тут же взорвалась протестом — какая судьба! Нечего ссылаться на судьбу, она сама ее делала. Распущенность всему виной!

И Мосалов не виноват, пусть она его и возненавидела, простить ему не может, что он будто бы ее совратил. Совращенную нечего совращать, она готова к этому. Все — Катькино воспитание. Да и самой Жене оправдываться нечего. Катька Катькой, но сама-то она не потрудилась разобраться, задуматься, что из всего этого может получиться. Ей нравилось тогда, не видела ничего страшного, ничего постыдного — жила. Жизнь одна... Что ж сейчас виноватых искать?

Теперь даже благодарила случай, что не застала Николая дома — зачем его обманывать, чего-то от него добиваться. Лешка действительно неизвестно чей сын...

Матрена Сидоровна, встретив дочь, отвела глаза. Жене стоило увидеть Лешку, который только что вернулся с улицы, чтобы обо всем догадаться. На нем была новая шапка и новые ярко-голубые штанишки с накладными карманчиками, простроченные желтыми нитками.

К удивлению Матрены Сидоровны Женя отнеслась ко всему спокойно. Про себя она даже обрадовалась обнове сына — шапка Лешке давно нужна была. Она поскупилась купить, денег в обрез, а дело шло к весне, решила — проходит в старой. И штанишки ей понравились, и, видно было, Лешке тоже.

И еще потому не возмутилась, а обрадовалась, что все же не всеми они брошены. Есть человек, пусть и неприятный ей, но будет помогать растить хоть одного, и то легче. Она даже забыла в это время, что из-за него, Мосалова, и Николая потеряла. Но теперь уж не вернешь.

Мосалов, конечно же, не из благородных чувств все делает, а потому, что это его сын. Тут он разобьется, а своего не упустит. Она уж его изучила.

А Николай? Что же, Николай по-своему прав. Только вот пропал как-то внезапно. Ну рассердилась она тогда, а скорее, растерялась, не знала, как себя вести, поскорее убежала на работу, чтобы не спеша обдумать, на что решиться. А он

больше и не показался. Выходит, не так он к ней и привязан был. И еще неизвестно какой он.

— Что, Леонид приезжал? — спросила устало.

— Да! — вглядываясь в нее, живо откликнулась Матрена Сидоровна. И, как всегда, замолчала, ожидая, что скажет дочь дальше.

— Иди-ка сюда, жених, — позвала Женя Сережку. — На-ка примеряй. — Протянула туфли.

Сережка стал торопливо разуваться. Светка и Лешка подступили, ожидая, что мать им приготовила.

— Да ты зачем с двух, с одной ноги хватит, — остановила Женя сына.

— Пусть на обе, — успокоила Матрена Сидоровна. — Ему же в них побегать не терпится.

— По морозу?

— Он им в избе еще жизни даст.

Сережка надел туфли и стоял, переминаясь с ноги на ногу, не в силах сдержать улыбки.

Не похож он был на Степку и на нее, на Женю, — тоже. Наверное, на кого-то из Степкиной родни. Но хотя и не похож, а память о себе Степка оставил.

— Спляшы, — подал голос Лешка.

Матрена Сидоровна, вскинув брови, рассмеялась. Смеялась и Женя и, не удержавшись, притянула к себе Лешку, обняла.

«Нет, Мосалов не потому ездит, что он лучше других, Николая или Ивана — ему сын нужен, он за своим ездит. Своего не упустит», — опять подумала Женя, обнимая сына.

— Ну и на сколько тебе их хватит?— спросила Сережку. — На месяц или на полтора?

Сын согласно, все с той же, теперь уже дурашливой улыбкой, утвердительно закивал головой. Вот теперь его дурашливость напомнила дурашливость Степки. Все равно что-то он в сыне оставил. Как давно это было и как досадно, что это было.

Стала доставать обновки и для других. Дети зашумели, засуетились, примеряя. В другой бы раз Женя разделила с ними их радость, сегодня только грустно улыбалась. Тяжесть не свалилась, давила. Собралась прилечь, отдохнуть с дороги, но мать напомнила, что истопила баню. И Женя ушла мыться.

Матрена Сидоровна последовала за ней, не терпелось расспросить как съездила. В доме при детях воздержалась, теперь сидела в предбаннике, разговаривала через приоткрытую дверь.

— Ну чего выездила?

— Ты же видела чего... — недовольно отозвалась Женя.

Матрена Сидоровна не стала дальше расспрашивать и так ясно, перевела разговор на другое. Женя вскоре закрыла дверь, стала париться. Парилась она всегда яростно, неистово. Если бы можно было состязаться с мужиками, то, наверное, и Алексей и Иван бы уступили ей.

Сначала доносились только шлепки веника, потом постанывание, короткие восклицания, а потом и смех, когда, наконец, вывалилась из парилки вся пунцовая, дымящаяся. На голове туго повязанный платок, нарочно для бани, чтобы «не горела» голова.

Матрена Сидоровна невольно залюбовалась дочкой. В самом расцвете, все еще молодо, упруго, ладно. Женя лучше, чем она, Матрена Сидоровна, в эту пору была. Но тогда другое было время. Тогда много работали и питались хуже. С этим временем не сравнишь, а значит, и с Женей равняться нечего. Матрена Сидоровна была хотя и не совсем худая, мужик был доволен, но все же такой налитости тела не имела. Жене надо хорошего мужа, а она одна киснет.

Женя бросилась на лавку, вытянулась, заложив руки под голову.

— Не простынь,— предупредила Матрена Сидоровна.

— Не простынь, — передразнила Женя. — Я тебе сколько говорю, топи в предбаннике. Не простынь...

— Я топила.

— Лед по углам. Топила...

Баня была старая, срубленная еще до войны. Вся осела, до третьего венца ушла в землю. Углы прогнили и промерзли. Новую строить некому, братовья своими делами заняты.

— Что он говорил-то? — поинтересовалась Женя, после того, как перевела дух и встала с лавки. Долго лежать можно и на самом деле простыть. Стояла у двери, готовясь снова уйти в парилку.

— Кто? Лексей-то? — старуха поняла, что дочка спрашивает о Мосалове. — Ничего не говорил. Подарки привез, посидел и обратно. Спрашивал, зачем ты в город поехала. Сказал, скоро опять приедет. Где-то здесь в районе какую-то работу делает, будет заезжать часто.

Женя промолчала. Про себя решила: пусть заезжает. Будут толки — сначала Николай ездил, теперь — этот. Пусть толкуют, пусть говорят, ей уже все надоело, все безразлично.

— Я от тебя скрывала, он мне деньги дает на Лешку, — призналась Матрена Сидоровна.

Женя резко обернулась, сверкнула глазами. Что-то хотела сказать, но удержалась, спросила только:

— Много дает?

— Как когда. Когда полста, когда тридцать, когда сорок. Не лишние. Их одевать надо.

Женя молча ушла в парилку. Оттуда донеслись хлесткие удары веника и постанывание, словно она наказывала себя за все, за грехи свои.

Матрена Сидоровна поднялась, так и не спросив дочку про Николая, пошла в избу.

Мальцу тяжело будет объяснить, куда девался его папка, думала она, почему не заезжает. Женя опять виновата, не надо было приучать его. Сошлись бы, потом уж папка. Тяжело вздохнула. Прожив жизнь, она по собственному опыту знала — все скроет время, зарастет, как камень мхом, забудется. Дети поднимутся. Женя состарится. Ее, Матрену Сидоровну, похоронят. Эти нынешние заботы даже не вспомнятся.

Остановилась посреди двора. Солнце тащилось к закату. Воздух, потеплевший было днем, опять набирался морозу. Вершины гор на востоке, освещенные бледными лучами, желто смеялись. А внизу, будто чье-то недовольство, таилась темная холодная синева.

Сколько Матрена Сидоровна помнит,— эти горы вокруг. А дом они поставили, как поженились с Андреем. Строили, о чем только не мечталось. Вот только построиться, только свой дом, а остальное все будет. Так тогда казалось. И что только не было на этом дворе, в этом доме. А навроде ничего и не было, все ушло, все забылось. Конечно, если бы потребовалось, она бы достала из памяти, отряхнула от пыли, как достают старую вещь, валявшуюся в кладовке с незапамятных времен, рассказала. Может, не все было бы ясно и отчетливо, но основное помнится. Только ничего такого уж больно хорошего не было. Довоенные годы были светлые, интересные, наверное, потому, что молодые. Но и они теперь уж так далеки, что вроде это где-то в другой жизни происходило. Тогда родился Игнат, Иван, Алексей. Потом война. Мужа забрали. Тут есть что вспомнить, да не хочется душу терзать. Вернулся Андрей израненный, больной и злой. У него и так-то характер был, не дай бог. Алексею передался, такая же спичка, чуть что — вспылил, а с войны пришел, вообще, не знала, с какой стороны к нему подступиться. Ничему не рад, ничего не надо. Со всеми, даже с соседями, перессорился. Из колхоза ушел, в лесники подался. На время как бы успокоился, а потом вскорости и умер. Женя уже после его смерти родилась, два месяца не дожил до дочери.

Такая ее жизнь на этом дворе, в окружении этих гор. Дети выросли, все нормально. Только вот у Жени... Но что поделаешь, не каждому счастливая судьба уготована, не каждому радоваться в жизни.

В избе сидел Алексей. Матрена Сидоровна сразу заметила — сын хмельной.

— Что это ты уже успел в бане помыться? — недовольно спросила она.

— Баню мы на завтра перенесли.

— Ясно, без бани банный день устроил, — насмешливо заметила Матрена Сидоровна, имея в виду то, что Алексей выпил.

— У тебя не найдется?

Старуха удивленно повернулась к сыну.

— Еще чего? Ловко придумал! Мать тридцать рублей пенсии получает и тебе будет бутылки брать. Вон они мои бутылки, — махнула рукой в сторону улицы, откуда доносились веселые детские голоса.

Алексей, опустив голову, следил за возмущением матери, сузив глаза. Во взгляде пристальное пьяное внимание и раздражение.

— Как съездила-то? Нашла хоть его?

— Кого? — притворилась старуха, что не поняла.

Теперь уж Алексей насмешливо скривился, передразнил:

— Кого! Будто не знаешь, кого. Весь поселок говорит. Кого!

Матрена Сидоровна выслушала спокойно, не обращая внимания на вспыльчивость сына.

— Ты, что ль, о Николае? Нашла. Куда ж он денется.

Алексей недоверчиво следил за матерью. А она словно и не замечала его навостренных глаз. Когда-то вот так же обманывала мужа, когда надо было отвести скандал. Он успокаивался, время было выиграно, а потом можно сотню причин придумать, чтобы выкрутиться. Да он и забывал чаще всего, о чем спрашивал, и настроение менялось, успокаивался.

— На ремонте он, — для пущей важности соврала старуха.

Николай как-то объяснял свое долгое отсутствие этим самым ремонтом. Почему же ему не быть на ремонте теперь.

В ремонт Алексей вроде поверил.

Матрена Сидоровна больше ничего не говорила, отчужденно молчала, чтобы дать понять сыну, — она вовсе не обрадовалась его приходу, с какими намерениями он пожаловал.

— Значит, на ремонте? — раздумчиво произнес Алексей. — Это еще ничего, если так.

— А если бы не нашла, то что уж тогда? — не удержалась старуха.

— Да она и не нашла, я по глазам вижу.

— Много видишь и больно много интересуешься.

— Брат я все-таки.

— Толку-то из того, что брат, — взорвалась вдруг Матрена Сидоровна, Накопилось, сейчас выскажет все. Это не муж, которого боялась, сына можно и за дверь выставить. — Ты бы, чем допросы чинить, пришел бы дрова распилил да расколол. Иван поехал свалил, привез, нанял трактор, а теперь ждем, когда придет распилит да расколет. А ты никогда не соберешься. Только допросы чинить да выпрашивать. Что толку от тебя, что ты брат?

— Мне стыдно за нее.

— А коли стыдно, не ходи! — сердито и строго наказала старуха.— Не ходи, коли стыдно. Больно стыдливый. Можешь уносить свой стыд, мы в нем не нуждаемся. Нам помощь нужна, а не стыд твой. Стыда нам своего девать некуда. Стыдно ему!..

Алексей растерялся. Думал, как всегда, поворчит, осудит сестру, да с тем и уйдет, если у них уж и «добавить» нечего. Но мать сегодня не узнать было.

Конечно, они языкасные—и старуха, и сестра, их не переговоришь, с ними спорить бесполезно. Не спеша поднялся.

— И на том спасибо, — произнес с расстановкой. — Мать родная выгоняет.

— Иди, иди. Проспишься, придешь. — Матрена Сидоровна знала, чем досадить сыну.

— При чем здесь — проспишься? — остановился Алексей у порога.

— Трезвый ты бы не чинил допросов. Можешь вообще не ходить.

— Ну и ты ко мне не ходи, — не зная, чем крыть, предупредил он и резко хлопнул дверью.

Матрена Сидоровна печальная, сдерживаясь, чтобы не расплакаться, собирала ребятишкам и себе в баню.

Как это жизнь устроена, думала с грустью, поганое переходит от человека к человеку. Ведь вот он сейчас точь-в-точь покойный Андрей, с такой же злостью, с таким же тяжелым сердцем. А ведь пришел к матери, к сестре родной. И сам не виноват. В нем все от отца. А он передаст это поганое своим детям. Да уже и сейчас видно, что Нинка наследница его. Андрюшка парень веселый, спокойный, а Нинка злючка. И вот тянется, тянется, не переводится погань эта. И портит она людям жизнь. И, наверное, так надо. Наверное, и нельзя без этого, потому что больно уж хорошо было бы, если бы все такие, как Иван, к примеру. Это же не жизнь была бы, а одно удовольствие.

От дум оторвали Матрену Сидоровну ребятишки. Ввалились шумной ватагой. Позади, как всегда, с красным носом, краснощекий, с вострыми глазенками, сосредоточенный и серьезный пыхтел Лешка. Столпились у стола, смотрели чего поесть.

— Кыш, кыш отсюда. Сейчас мать придет, в баню пойдем. Потом ужинать будете. В баню кто наедается?

При виде их беззаботных счастливых лиц Матрена Сидоровна стала успокаиваться. С досадой подумала об Алексее: пришел, расстроил. Лучше пусть не ходит, пусть дуется, беда его обиды. Все равно придет, куда денется, но пока хоть отдохнуть от него.

Жене о ссоре с сыном не рассказала — нечего расстраивать.

— У меня к тебе серьезный разговор, — сказал Привалихин, непривычно морщась, без улыбки и тихо. — Ты только никому не рассказывай.

Он не вызвал Женю к себе в кабинет, а когда остались одни, вышел и сел напротив, на место техника.

Женя встревоженно посмотрела на него. Заметила вдруг, что глаза не смеются, но так же опутаны морщинками и темные от волнения.

Что случилось? Что он хочет сказать? Кроме как о работе она ни о чем не подумала. Но на работе вроде все нормально.

Привалихин замолчал. В кой уж раз и теперь в последний, засомневался — а стоит ли, а получится ли что из этого, или только позор и смех всего поселка над ним. Если бы она согласилась куда-нибудь уехать отсюда. Он бы поискал работу в другом месте.

Нигде не спрячешь своего возраста. И потом, если уж идти на это, надо быть решительным как никогда.

Но продолжал он начатый разговор далеко нерешительно.

— Я как-то тебе говорил, что с женой прожил по обязанности. Безразличен я ей, да и никогда между нами ничего не было.

Женя вспыхнула. Первой была радость. Удары сердца глухие, сильные разнеслись по комнате. Но уже в следующее мгновение ей хотелось рассмеяться и заплакать одновременно. Состояние, когда ее сразу — обрадовали, рассмешили и заставили плакать. Но еще через некоторое время она насторожилась и прикипело впилась в лицо Привалихина — а вдруг он ей предложит сожительствовать — все они одинаковые.

— Я понимаю, что возраст у нас разный. Но если не обращать на это внимания, то... — Он опять замолчал, а Женя ждала, что же дальше. — То ребятишки ничего. Вырастим.

«Он порядочный дядька», — подумала она. На душе отлегло. Криво, не чувствуя улыбки, улыбалась и ничего не говорила.

— Это, конечно, очень серьезно и поэтому прошу никому не рассказывать, ни с кем не делиться, если не пожелаешь. Пусть это будет между нами. Понимаешь?

Женя машинально кивнула головой. Единственный выход, наконец, сообразила она, повернуть все к шутке. Разговор вести не так серьезно, как его начал Привалихин. Голос позванивал от напряжения и все же так ей было легче.

— Фу! Ну напугал, Валентин Иванович, — глаза от волнения разъехались в разные стороны. — Так сразу и замуж, что ли?

Он понял и принял небрежность ответа, как шутку, и обычная, хотя и вздрагивающая улыбка появилась на его лице.

Женя продолжала:

— А как же по служебной инструкции, можно, чтобы я была женой и помощницей?

— Наверное, можно, — не задумываясь, ответил он.

— Вот — «наверное», а надо точно.

— Точно можно. Нельзя начальнику и бухгалтеру, — стал соображать Привалихин. — Начальнику и завскладом, где можно что-то стибрить.

«Стибрить» выскочило невольно, перестарался с шуткой.

Женя напряженно думала. Но напряжение как раз и мешало, мысли путались и ускользали, ей ничего не удавалось сообразить толком.

— Ну что же, спасибо... А сколько это вам лет? — спросила она вдруг.

Привалихин покраснел, но ответил спокойно.

— На двадцать два года я тебя старше.

Женя старательно соображала, как это много. Показалось много. И она погрустнела.

— А как же вы с Александрой Ива-

новной, разведетесь, значит?

— Нас ничего не связывает.

— Какие вы мужики!

Она остановилась. О мужиках в ее положении хотелось говорить только плохое и говорить без умолку.

А Привалихин виновато опустил глаза. Улыбка застыло морщила лицо.

— Я подумаю, Валентин Иванович... Я сама подумаю, никому не буду говорить, — серьезно пообещала Женя.

Привалихин облегченно поднялся, даже форменный китель поправил, дернув за полу, хотя он всегда сидел на нем отлично, и боком удалился в свой кабинет.

А Женя уже не могла работать, сосредоточиться, когда рядом за перегородкой находился тот, кто только что сделал ей предложение. Первое в ее жизни серьезное предложение. Этот не обманет, этот искренне.

Но что из того? Она и в мыслях не допускала такого и не готова была поэтому сейчас что-то решать. Кроме того, что эти двадцать два года, еще и сам он нравится ей или нет?

А как может нравиться дедушка? Может быть, приятный дедушка, хороший дедушка, но он — дедушка!

Он еще не дедушка. Он еще... Нет! Ничего она сообразить не может, не надо пытаться.

Только под всеми этими мыслями и чувствами, где-то, что еще не вышло, не созрело, но уже давало о себе знать неясным желанием, томлением и волнением, существовало в ней — она согласна! И потому, чтобы раз и навсегда покончить с неопределенностью, позорным положением незамужней женщины с оравой неизвестно чьих ребятишек.

Но все это надо, чтобы созрело, чтобы принято было ею. Оно может исчезнуть, не открывшись. Достаточно кому-то вмешаться, рассоветовать. Нет. Она сама может свободно и спокойно рассудить. Здесь уж страсти не мешают.

Привалихин стоял у окна и смотрел на горы. Странные они, эти горы, стремительные всплески земной тверди. Какая сила их вздыбила? Сколько времени они вот так, взнявшись вверх, застыло торчат? И почему они каждый раз тревожат воображение, связывая его с чем-то страшным, что произошло когда-то. И именно туда устремляются мысли и беспомощно теряются по дороге, не достигая тайн и еще больше волнуя душу.

Памятники! Все, что люди хотят увековечить, они обозначают вертикально, возвышая над земной гладью. И горы — памятники больших событий, происшедших на земле. Только без участия людей.

Сколько чего тут было при их молчаливом присутствии и сколько еще будет, а они так и останутся над этой долиной, словно взнялись только затем, чтобы наблюдать, что тут происходит.

Горы успокаивали Привалихина. Перед их вечностью его волнения и тревоги казались ничтожными. Стыд постепенно рассеивался, и он набирался уверенности, что поступил правильно: упрекнуть себя не в чем. Хоть часть жизни оставшуюся, небольшую прожить с женщиной, которая ему приятна. Он даст ей все, что сможет, и этим будет счастлив. Конечно, он не знает, будет ли она счастлива и согласится ли. Но если даже откажет, и в таком случае ему легче — он осмелился и сделал так, как хотел.

Надо было куда-то идти. Оставаться в бездействии невыносимо. Вспомнил, что собирался встретиться с управляющим совхозным отделением, попросить у него бульдозер, расчистить дорогу на лесосеку. Можно было позвонить, узнать, на месте ли он. Но Валентин Иванович не стал звонить.

— Я в отделение к управляющему,— предупредил Женю, как будто ничего между ними не произошло. Но говорил с напряжением, и она так же выслушала, излишне внимательно, и торопливо закивала головой.

Сидела над бумагами и, наверное, уже в сотый раз читала, не понимая написанного. Это был циркуляр из лесхоза о недостатках при проведении рубок ухода.

«Мне тридцать два, ему пятьдесят четыре. Через шесть лет он уже уйдет на пенсию или будет работать дальше. Скорее всего будет, что ему на пенсии делать? По крайней мере, если у нас получится, я его заставлю работать... Когда мне исполнится пятьдесят пять, ему будет семьдесят семь, — упорно считала она. — Так, так. Когда ему будет семьдесят, Лешке будет девятнадцать. Все-таки будет помогать, все-таки не одной.

Мать долго не продюжит.

Но сколько смеха будет. Спросить Алексея, что бы он посоветовал? А Иван? А мать?

Она не могла представить, как отнесутся они. А так ли это важно? Мнение матери надо узнать. С матерью придется посоветоваться. А остальные — не обязательно.

Устала на работе больше обычного. Лучше бы не было этого признания, спокойнее было бы.

Контора располагалась в конце поселка, чуть в сторонке в лесочке, особняком, чтобы не мешаться с жилыми домами. Женя закрыла ее на замок, сторож придет позже, и пошла домой.

Надо было пройти всю Кырму, что как и другие поселки одной улицей примыкала к тракту. На этой улице стоял их дом.

На тракту молодежь каталась на велосипедах, собирались посидеть на завалинке летними вечерами у чьего-нибудь дома. По тракту проносились машины, все больше тяжелые, грузовые издалека, из одного конца земли в другой. Все привыкли к ним и не задумывались над тем, что живут у асфальтированной жилы, по которой можно попасть в любой город страны.

Сегодня Жене почему-то пришло в голову: стоит остановить одну из проходящих машин, улыбнуться шоферу, попросить его увезти из Кырмы, и она за то время, которое отсидела на работе, смогла бы оказаться дальше Иркутска. А там на другую машину, ведь тракт не кончается, можно уехать куда пожелаешь. Да только что из этого? Ее место здесь, в Кырме, в поселке среди синих гор. Здесь ее дом, здесь ее счастье, здесь ее горе. И от этого никуда не убежишь.

Кроме радости и надежды, которые заронил в ее душу Привалихин, кроме сомнений и волнений, кроме всего прочего хорошего и плохого, светлого и сумрачного оставался (сейчас она это почувствовала) след какой-то неприятной мысли. Так в тайге среди множества следов белки и зайца вдруг встретишь след рыси и становится не по себе. Такая рысь походила и в ее душе и ушла, оставив следы. Вот только самую мысль Женя забыла. Она явилась вместе с другими и так же исчезла. Но след оставался и тревожил. Старалась вспомнить, что же, о чем же подумала давеча? И почему это так неприятно?

Опять конец дня. Ох, эти концы дней! Они мелькают один за другим, рыжими лисьими хвостами и не несут ей ничего хорошего.

Навстречу попался сосед, старый бурят дед Илья. Остановился, поздоровался.

— Спешил, спешил и не застал, однако, — сообщил он явный факт.

— А чего хотел? — спросила Женя. Она относилась к нему с неприязнью: он надо не надо посмеивался над ее неудачами. Старый шаман. Может, он ей и судьбу нашаманил?

— Дрова, однако, мне нужны, — сказал старик.

— Это к лесничему завтра придешь, — ответила Женя, обходя его и уступая дорогу несущемуся по тракту скотовозу.

— А сегодня уже нету? — обернулся он вслед ей, когда прошла машина.

— Что так загорелось? Завтра снег растает? — рассердилась Женя.

— Завтра трактор договорился...

— Ну придешь, выпишешь и поедешь.

— Да. Так, наверное, ага, придется, — согласился старик, поворачивая обратно. И тут же, переменив голос, наверное с тем, чтобы угодить Жене, спросил: — Что-то твой давно не ездит? Не вижу.

По тому как только прошел скотовоз, Женя поняла, сосед имел в виду Николая.

— Тебя забыл спросить, когда ему ездить...

«Старый пень! Какое ему дело, все лезет, все подначивает».

Дед Илья не понял, чем так не угодил соседке. Постоял, качая удрученно головой, бормоча что-то, и поплелся домой.

Через некоторое время, успокоившись, Женя снова занялась расчетами: «Вот ему семьдесят, этому Илье. Привалихину столько будет через шестнадцать лет. Сережке двадцать пять. Он уже женится. А Лешке девятнадцать. Взрослые. А потом пусть... А мне будет сорок восемь...»

Возле их дома Иван пилил дрова. Матрена Сидоровна с ломиком пыталась

помогать ему. Женя, глядя на мать, вспомнила: ей тоже за семьдесят, а она ничего еще, вовсю работает, по дому без Жени запросто справляется.

И тут же застыдилась: теперь каждого старика будет сравнивать с Привалихиным.

Поспешно переодевшись, сменила мать. Матрена Сидоровна, передав ей ломик, отошла в сторону, стала наблюдать за работой.

Раньше сколько дел было — дрова эти распилить. В месяц только-только справлялись. А теперь вот он два часа потрещит этой трещеткой — и готово. Останется только расколоть. Намного легче стало жить. Намного. А счастье все равно дело трудное.

Женя поддерживала чурки, которые при работе бензопилой начинали вращаться, чтобы Ивану легче было с ними справиться. Поднимала ломиком, если в резе зажимало цепь, откатывала. И думала все о том же. Вспомнила, наконец, мысль, которая оставила неприятный след: то была насмешка над собой, над тем, что она обрадовалась Привалихину, как валявшемуся на дороге старому чайнику. До чего докатилась! Ни одна маломальски уважающая себя женщина ее возраста не только не согласилась бы на его предложение, а даже посчитала за оскорбление.

По дороге пронесся скотовоз. Женя оторвалась от работы, пристально посмотрела в кабину, хотя машина не была похожа на Колину. За рулем сидел пожилой шофер, он даже не взглянул в их сторону. Прогудела машина, прогудела дорога.

Если бы была возможность начать все сначала — остро вспыхнуло — оказаться молодой, уехать в техникум! Она бы руки себе прижигала, только бы унять ту противную страсть, что толкнула ее тогда подчиниться Степкиной воле. Она бы так все размерила, так устроила, что и парня бы нашла путевого — мало их разве — и замуж бы вышла, как положено. Она бы...

Нечего об этом думать. Жизнь ее сложилась, как неудачная поездка в город. Копила, копила деньги и вместо того, чтобы купить что-то стоящее, дорогое и надолго, растранжирила их по пустякам, по безделушкам, и от этого одно расстройство. Вся жизнь — одно расстройство!..

Небольшой кармашек, отделившись от основного поля, врезался в лиственный мелкорослый лес и ушел вниз, в долину. Всей долины не видно было, она угадывалась за лесом ниже. Над верхушками голых деревьев тускло желтело длинное пятно скошенного поля на противоположной стороне предгорья. Над ним залегла широкой мрачно-серой полосой тайга. А выше все закрывали облака. В том месте, где было солнце, они рассеянно светились широким кругом. Во влажном воздухе чувствовался запах снега.

Октябрь. Лес еще держал кое-где ржавый потемневший лист. Порывистый ветер поднимал легкий шум, слепленный из тоненьких писков голых веток. Шум то смолкал, то возрастал, и тогда над головой Мосалова начинала посвистывать иголками корявая развесистая сосна. Низкие ветки едва не задевали Мосалова. Он прислонился к стволу, спрятался за него, напряженно ждал, когда забазлают загонщики.

Слева по кромке поля застыли на номерах Привалихин, Иван, Алексей...

Полтора десятка лет прошло с тех пор, когда Мосалов с Олегом, выходя из тайги от охотников, попали на праздник к Семеновым. Случай перевернул жизнь. С тех пор он связан с Семеновыми, с Кырмой. Здесь у него родился сын.

Николая он тогда отшил. Женя вышла замуж за Привалихина. К этому отнеслись по-разному. Жена Привалихина не скандалила. Повела себя гордо. Слушать объяснение мужа не пожелала и вскоре перебралась к сыну.

Алексей, как ошарашенный, крутил головой: не мог понять, возмущаться ему или радоваться. Только внимательно, с подозрением всматривался в Привалихина, не шельмует ли, не обманывает. Лесничий рядом с Женей был похож на опекуна, доброго папашу.

Иван случившееся воспринял спокойно. Одно у него не получалось: не мог назвать Привалихина просто Валентином, обязательно следом выскальзывало — Иванович. А ведь теперь они родня!

Но вскоре все встало на свои места. В поселке привыкли, некоторые осуждали, некоторые одобряли. Мужики завидовали Привалихину, бабы ругали Женю.

Мосалову ничего не мешало встречаться с Лешкой.

А потом началось это преображение. В Лешке стали проступать черты Николая. Поначалу Мосалов пытался не обращать внимания. Но то, что заложено было, проявлялось в подростке все больше и больше. И пришло время, когда никто уже не сомневался: «Лешка — вылитый Коля».

Мосалова раздражает чуб парня, что, как и у шофера, русой волной спадает на правый глаз. Даже Женя недовольна. Даже ей не нравится прическа Лешки. «Ну что ты космы распустил?» — ругается она. Заставила остричься накоротко. Но вылез вихор, который делал Лешку каким-то странным образом еще больше похожим на Николая.

Все видят сходство, все сочувствуют Мосалову, недовольны Лешкой, словно он виноват в том, что природа гнула свое и гнула не в ту сторону, в которую бы всем хотелось. Одно теперь в утеху Мосалову: никто — ни жена, ни мать не ведают о подпольном сыне. А было время — он собирался свозить его в город, показать матери. Но что-то удержало и теперь он этому рад.

Матрену Сидоровну похоронили семь лет назад. Она была довольна, что Женя хоть так устроила свою судьбу.

Сережка, старший сын Жени, после армии женился, да так и остался в Амурской области.

Светка закончила восьмилетку, работает на ферме. Лешка учится в седьмом классе. Учится посредственно. Даже это Мосалов ставит ему в вину, потому что он, Мосалов, закончил школу с двумя четверками.

Приемную дочь Мосалов выдал замуж и даже стал дедом — родился внук...

Слева снизу, откуда должны были подниматься загонщики, донеслось куцое: гой! И тут же чуть в стороне отозвался другой голос: го-го!

Ветер укорачивал звуки, срезал их, уносил в лес. Только более громкая часть, ядрышки, долетали до номеров.

Мысли Мосалова сразу смолкли, он напрягся, хотя понимал: загонщики еще далеко для того, чтобы появились косули, если они здесь есть. Но все равно в теле занялась дрожь, руки сами сжали ружье.

Это был уже второй загон. Первый сделали возле деревни и безуспешно.

Боковым зрением слева от себя Мосалов видел Привалихина. Дед прятался за березками, сгорбившись, втянув голову в плечи. Мерз.

Странная пара — Женя и Привалихин. Еще один странный поступок Жени. Мосалов, когда услышал, что они сошлись, рассердился на Женю. Да и на Привалихина тоже, посчитал его старым прелюбодеем, не погнушавшимся воспользоваться безвыходным положением одинокой женщины.

Но Привалихин оказался на удивление радушным и приветливым. Всегда с улыбочкой, со смешком. Кроме того, сразу занял перед Женей сторону Мосалова и добился того, что она смягчилась, позволила Мосалову встречаться с Лешкой.

Короче, дед незаурядный всеугодник. Но у Мосалова он вызывает сочувствие и презрение.

Загонщики приближались. Явственно слышался их разнобойный гам. Ого-го! Ах-ах! Ту-ту! Да-да-да!

Ветер уже не мог отбросить, унести эти звуки. Стрелки застыли на номерах. Мосалов задеревенелыми пальцами сжимал ружье и, с повлажневшими от напряжения глазами, ожидал появления косули. И когда казалось, что и этот загон прошел впустую, когда загонщики были уже рядом, на поле выбежала одинокая косуля. Остановилась, повела ушами, повернула голову в сторону шума, мгновение постояла, будто решала, куда лучше бежать, и не спеша подалась к Мосалову.

Могла повернуть вправо, влево, чуть в сторону от загонщиков. Много у ней было путей, но такова уж судьба: бежала прямо на него.

Вот и с ним когда-то так получилось. Он мог и не заходить тогда в тайгу к охотникам в поисках того вообще-то не так и интересного материала.

Они могли выйти с Олегом не в Кырму, а в другой поселок.

В той же Кырме могли зайти не к Семеновым, а к кому угодно.

Ничего этого не случилось, а случилось то, что случилось.

Мосалов застыл. Все в нем замерло, остановилось. Наполнился до краев напряженным ожиданием. И только где-то высоко, в отрыве и от этого напряжения, и от ожидания, и от страха, что она вдруг изменит направление, и от желания, чтобы скорее бежала, возник слабый вопросик, заданный кем-то в идиотско-насмешливой форме: «А почему бы тебе не пожалеть ее? Ведь она тоже живое существо. Ей так же страшно и больно, и жить хочется...»

Но все это было так слабо и так неуверенно, с оглядкой назад, будто тот, кто спрашивал, тут же и соглашался на отказ — Мосалов даже не обратил внимания, поглощенный одним: только бы она не свернула, только бы не промахнуться.

Косуля не собиралась сворачивать. Была она похожа на ту, которая когда-то водила его целый день по лесу. Такая же стройная, на тонких ногах, так же торчали чуткие уши на красивой голове. Бледный живот, серые бока, черная спина.

Застрявшая в сугробе снега, в чаще ельника, она, повернув голову, смотрела на него с ненавистью. Даже беззащитное существо может ненавидеть.

А на следующее утро с такой же ненавистью пронзила его взглядом Женя, выскочив за ним в сени: «Ты вот что! Не вздумай Николаю что-нибудь говорить. Ясно тебе?»

Но он не пожалел и ее — нажал на спуск.

Грянул выстрел. Косуля вздрогнула, не от звука, от удара, что пришелся в живот. Сгорбилась. Передние ноги уперлись в землю, будто перед ней возникла преграда, стали подкашиваться. Медленно опускаясь, завалилась набок.

Мосалов торопливо перезаряжал ружье.

Вот! Никто не посмеет упрекнуть его, что он не может стрелять.

Было смутное чувство вины, но старался не обращать внимания.

Привалихин подошел первым. В новых ичигах, в серой из толстого сукна куртке, в таких брюках (все подобрано специально для охоты и по цвету и по материалу), посиневший от холода, щупленький, старенький и от возраста, и от того, что сжался в комок — замерз.

— Готова? — улыбнулся Мосалову, стараясь не смотреть на труп.

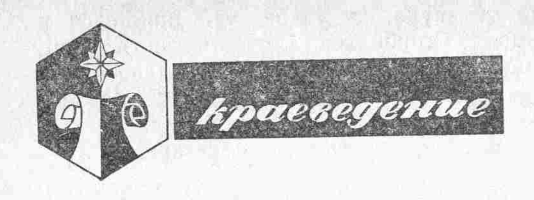
— Есть, — бодро ответил Мосалов хриплым от волнения голосом. Он был горд, словно завалил опасного зверя.

И все подходившие радовались, шутили, смеялись, хлопали его по плечу, поздравляли.

Только Лешка остановился в стороне. Он не собирался на охоту, не любит это занятие, дядя чуть ли не силой потащил.

Алексей решительно отставил ружье в сторону, вынул из чехла нож. Резким движением вспорол живот косули — из огромной раны вяло показалась кровь. Разрезал пленку, отложил нож, засунул обе руки в живот, начал вываливать требуху.

Мосалов отошел. Лешка сидел на пне спиной ко всему. Заслышав шаги, обернулся. Во взгляде была тоска и боль, и что-то от той ненависти загнанного существа, с которой посмотрела когда-то на Мосалова косуля...



Поиск исторической правды о судьбе народа нашей страны, прожившего под знаменем социализма более 70 лет, сегодня жизненно необходим. Однако разобраться, когда и где были допущены приведшие нас к глубочайшему кризису и в экономической, и — главное — идеологической сферах жизни ошибки, разобраться по существу, оказывается сегодня чрезвычайно сложной задачей — так разнообразны сейчас подходы к освещению многих забытых и полузабытых страниц нашей истории. И — это понятно — многие сегодняшние публикации грешат субъективизмом в отношении исторических реалий, содержат иной раз попытку представить второстепенное в жизни страны самым важным, существенным. А происходит это отчасти потому, что кое-кто хотел бы удержать в своих руках монополию на истину. И до тех пор, пока мы будем судить об истории собственной страны, не имея необходимых исторических документов, трудно изменить ситуацию к лучшему. Об этой проблеме и некоторых других говорится в интервью, которое журналист Александр Шахматов взял у доктора исторических наук Аполлона Григорьевича Кузьмина, автора многих книг, в числе которых широко известные читателю «Татищев», «Начальные этапы древнерусского летописания».

Корр.: Аполлон Григорьевич, сейчас так много говорят о «Протоколах Сионских мудрецов», "Майн кампф" Гитлера; некоторые публицисты, анализируя обстановку в стране, даже ссылаются на эти источники. А мне, как рядовому читателю, все же хотелось бы самому подержать в руках эти свидетельства уже изданными, сделать самому для себя определенные выводы. Или же это привилегия, например, только В. Носенко и С. Рогова, авторов «Огонька» и «Советской культуры»?

Кузьмин: По существу, здесь надо рассматривать не одну какую-то книгу, а в целом — какие материалы должны публиковаться и в каком качестве, какие, может быть, вообще публиковать не следует. Безусловно, запрещению должны подвергаться материалы с государственными секретами и порнография. Кстати, об этом еще Ленин говорил, что, кроме этого, все должно быть опубликовано. Что касается непосредственно «Протоколов...», вы правы, вот Рогов и Носенко постоянно эти «Протоколы...» упоминают, а читатели даже и не знают, так или не так вообще «Протоколы...» цитируются, почему, собственно, у Рогова и Носенко должна быть монополия на это? Вот они говорят, что это с «Диалогов...» Жоли списано. Ну, хорошо, нам интересно было бы самим узнать, самим посмотреть на книгу публи-

циста середины XIX века Мориса Жоли и на «Протоколы», сравнить — это отсюда списано, это — отсюда. А мы ничего, по сути, и об этом Жоли не знаем тоже. Просто ничего не знаем. Нужно, конечно, научное издание, нужен научный комментарий... Таким же образом и «Майн кампф» Гитлера. Нужно научное издание. Я до недавнего времени и не знал, что у нас, оказывается, было в свое время два научных издания этой книги (не научных, точнее, а для служебного пользования). Я имею в виду издание 34-го и 39-го годов. Разумеется, в переводе на русский язык. Я до этих изданий не добрался еще. Но в принципе добраться можно: как мне говорили, они даже с рук продаются, причем издание 39-го года, говорят, с предисловием Молотова. Меня, по правде говоря, больше как раз интересует вот это предисловие Молотова, чем сам «Майн кампф». Конечно, я повторю, научное издание совершенно необходимо, хотя бы вот по каким причинам. Те же самые Рогов и Носенко, постоянно ссылаясь на «Майн кампф» Гитлера, обвиняли В. Бегуна в том, что он якобы свои работы списывал с гитлеровской. Но, во-первых, он немецкого языка не знал и об изданиях на русском языке тоже не знал. Плюс ко всему прочему, в своих работах он цитирует не Гитлера, а... Маркса, его статью «К еврейскому вопросу», основные положения Марксовой работы. У меня такое впечатление сложилось, что Рогов и Носенко не читали Маркса! Иначе бы зачем им нужно слова Маркса приписывать Гитлеру, да еще при этом обвинять В. Бегуна.

Корр.: Аполлон Григорьевич, такая тенденция будет сохраняться до тех пор, пока мы будем знать только Ленина и Маркса, не анализируя научное издание книги Гитлера, а публикаторы «Огонька», «Советской культуры» и прочих изданий будут приписывать высказывания марксистов идеологам фашизма.

Кузьмин: Да, конечно... Но вот любопытный аспект: а почему, собственно, кто у нас так обеспокоен, чтобы «Майн кампф» никто не узнал? Кому это нужно секрет сохранить? Между прочим, и в самой Германии это была книга для элиты. После прихода фашистов к власти без специального разрешения нельзя на нее было даже ссылаться. Издавать на иностранных языках они ее не разрешали, только выборки. И когда в 43-м году в США вышел перевод «Майн кампф», в предисловии были такие слова: «Если бы эту книгу своевременно перевели на все языки, в Европе фашизма бы не было». Потому что это — разоблачение фашизма. Только защитникам фашизма это выгодно скрывать. И сейчас кому-то выгодно не давать, по крайней мере, нашему народу эти тексты. Считаю, эти документы должны быть доступны по крайней мере для исследования. Я остаюсь на той точке зрения, что издание должно быть научным, иначе просто и не поймешь ничего. Научный комментарий необходим.

Корр.: С книжкой Гитлера более-менее ясно, ее хоть в руках держала хотя бы та же германская элита, но вот «Протоколы Сионских мудрецов» (я вновь к ним возвращаюсь) — просто какая-то мифическая книга, вокруг которой столько толков. Говорят, она даже находилась в библиотеке Ленина.

Кузьмин: Это верно. В описи библиотеки Владимира Ильича «Протоколы...» фигурируют. «Протоколы Сионских мудрецов» — это своеобразная наука господства, по сути, наука о власти. Подлинный или не подлинный это документ — это вопрос уже другой. Кто это сделал, с какой целью — вопрос, повторяю, другой. Но сам механизм господства там представлен так, как он исторически складывался. И тем «Протоколы...» интересны. Что же касается наличия их в библиотеке у того или иного политического деятеля, то я считаю, что любой политический деятель должен был этим заинтересоваться, чтобы какое-то свое мнение сложить. Что касается вопроса о происхождении, здесь такой разнобой, что руками разводишь. В прошлом, кажется, году В. Цветов по ТВ умудрился

сразу нескольких авторов назвать. С одной стороны, он процитировал «Нью-Йорк таймс», которая связывает происхождение «Протоколов...» с французскими антисемитами (в США вообще это распространенная точка зрения). С другой стороны, В. Цветов тут же к этому присоединил царскую охранку и каким-то образом... японскую разведку. Так что у него в одном выступлении столько оказалось авторов, что уж одно это — целый детектив. И опять-таки в этом «детективе» не разберешься и к такого рода заявлениям будет недоверие и даже просто подозрение оно будет вызывать, если не будет серьезного нормального исследования. Исследования серьезного, а не такого, как вот у С. Рогова и В. Носенко, у них публикации — для массового читателя.

Корр.: Аполлон Григорьевич, раз уж мы заговорили о власти, о механизме господства, не стоит ли сделать осторожный экскурс в прошлое? Суммируя публикации в периодике, можно уже прийти к выводу, что сразу же после Октябрьской революции встал особенно остро вопрос о том, кому же быть «у руля».

Кузьмин: Давайте даже пораньше посмотрим — до революции. Много здесь подозрительного. Скажем, вот приезжает Ленин в Петроград вопреки решениям ЦК. Его статьи, где он ставит вопрос о вооруженном восстании, чуть ли не сжигают (на ЦК обсуждают вопрос об их сожжении). Накануне уже самого восстания, 25 октября, его не пускают в Смольный. Он в нарушение решения ЦК туда приходит ночью и, можно сказать, устраивает там переворот. А что было бы, если бы он не нарушил этого запрета? Открылся бы съезд Советов, который бы передал власть в руки председателя Петроградского Совета Троцкого. Очевидно, у Ленина были основания нарушать эти установления. Далее... покушение, оно так и осталось все-таки невскрытым. Мотивы и механизм — каким образом преступники действовали? Слишком быстро Каплан убрали, просто пристрелили. И это производит впечатление, что кто-то боялся, что она скажет лишнего. Да и восстание левых эсеров в 18-м году, в июле в Москве, тоже нуждается в дополнительных исследованиях. Там не все ясно. Скажем, воспоминания Вацетиса (они за рубежом публиковались, у нас какие-то отрывки из него публиковались, но их опубликовать надо, видимо, более полно). Он там намекает на связь с левыми эсерами и Троцкого. Потом постоянные конфликты вокруг Брестского мира, да вокруг любого вопроса... И, по существу, совершеннейшая изоляция уже в 22-м, в 23-м годах. Мы еще не четко представляем себе тех людей, кто окружал Ленина. У нас любят говорить о том, какое у нас было образованное первое правительство. А надо говорить о другом — какое это было необразованное правительство, потому что людей с высшим образованием там были единицы. Просто с высшим образованием. А большинство — как тогда говорили, с тюремным образованием. И даже не то, что они были некомпетентны во многом (конечно, они в большинстве своем не читали того же Маркса и были во всех отношениях недоучками), но здесь, может быть, загадочнее, опаснее и важнее другое — уж очень много людей подымалось к власти, явно некомпетентных, явно несамостоятельных, явно — исполнителей... Ведь если б люди болели о деле, они должны были бы подбирать людей компетентных, знающих, умеющих. А когда выдвигают людей на высшие должности, явно неспособных что-либо самостоятельно делать, то это сразу вызывает подозрение: а с какой же целью их выдвигают и кому это нужно. А таких у нас оказалось в итоге очень много. Ну, скажем, тот же Свердлов. Брат его остался где-то в Европе, но это бывало... ладно. Авербах, промышленник, женат на сестре Свердлова. Это весьма состоятельный человек и — во время гражданской войны он еще занимался... реквизицией ценностей. Очень все это странно выглядит. А затем в 20-е годы мы его узнаем как лидера Пролеткульта. Ничего себе пролетарская

культура, которую возглавляет миллионер. И вот такая профанация идет с первых дней революции. Какие-то очень темные личности оказываются слишком высоко. В данном случае, опять увязывается со Свердловым. А в свою очередь, Ягода был зятем Авербаха. Весьма темная история, с которой пока не разбирались, но, наверное, придется разобраться... Если те, кто начал этот клубок раскручивать — с «Мемориалом» и прочее — дело может пойти. Но пока, как видно, две у них противоположных цели. Одна цель вроде бы реабилитировать, как они говорят, соратников Ленина — Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина, а другая цель — утопить их всех вместе с идеями социализма. Выбросить уже всех вместе... И вместе с идеями социализма. Тогда уж реабилитация может пойти по другой линии — то есть тогда их будут реабилитировать как борцов с социализмом... Тот же Авербах для этой цели великолепно подойдет...

Корр.: Об этом стоит, мне кажется, подробнее поговорить. Но сначала давайте вот в чем разберемся: сейчас отчетливо видно стремление свалить многие беды на одного Сталина, закрыть, так сказать, глаза и не позволить прояснить действительную ситуацию. Такое ощущение, как будто даже и не предполагается разобраться, где палачи, где жертвы...

Кузьмин: В том-то и дело. Вроде бы одного, двух, трех палачей упомянут, а остальные как будто — жертвы. А многие из этих жертв, как оказывается, тоже палачи. Так что начинать, конечно, надо изучение с 18-го года. Вы помните публикации и в «Советской России», и в «Кубани» краснодарской, и вот еще «Красные дни» А. Знаменского в № 1, 2 «Роман-газеты», статья Е. Лосева в журнале «Москва» — все о диком указе об уничтожении (поголовном уничтожении!) верхов казачества. Трудно сейчас даже сказать, сколько вообще было уничтожено тогда казаков, но называют цифру более миллиона человек. Так что оттуда, с послеоктябрьского времени, начинаются явные преступления против казачества. И оправдать тут каким-то классовым подходом просто невозможно. Мы должны исходить из того, что за гражданскую войну общие потери, если включить еще и голод 20—21 годов, приближаются к двум десяткам миллионов. Тогда как в первую мировую войну мы потеряли менее двух миллионов. Такая разница. И считать эти потери нормальными, оправдывать их — опять-таки просто элементарно совесть не позволит. Так начинались преступления. Мне понравилась мысль В. Селюнина о том, что создавалась интернациональная армия (из нерусских солдат — русские солдаты просто бы не стали стрелять). Он называет цифру 300 тысяч. На самом деле было их гораздо больше! Речь должна идти о нескольких миллионах. Итак, с одной стороны, интернационализм пролетарский во имя совершения революции, которая тогда мыслилась как мировая, а с другой стороны, создание аппарата из иноземного населения для репрессий в отношении коренного населения. И, будем объективны, основная тогдашняя идея — идея мировой революции — была ложной.

Корр.: И, как результат, — «крестьянство — враг», ведется антикрестьянская политика. Власть опирается (старается опираться) не на местное население, а, например, на деклассированные элементы, ведь что такое, скажем, комитеты бедноты?

Кузьмин: И в самом деле! В одних случаях это — эксплуатируемые элементы, но во многих, вы правильно отметили, в самом деле — деклассированные. И вот эти элементы вместе с иностранцами создают аппарат, не заинтересованный, по существу, в том, что происходит в стране, создают обстановку оккупации страны. В 1925 году Луначарский скажет это уже в адрес Авербаха, что «если мы встанем на вашу позицию, мы будем завоевателями в чужой стране». И это отношение — отношение как к чужой стране, оно было у многих тогдашних лидеров. Мне приходилось писать о том, что наши беды и истоки на-

шей административной системы находятся в махизме. Махизм у нас связывается с именами Богданова и Луначарского, знают его (махизм) у нас плохо. «Материализм и эмпириокритицизм» Ленина, как правило, не понимают, потому что не знают Маха, да и Богданова тоже плохо знают. А суть там в чем? Махизм — это форма субъективного идеализма, волюнтаризма, механицизма. Исходили наши махисты из того, что правят миром в общем-то идеи и надо переломать человека, его характер и даже целые социальные слои, чтобы привести к реализации каких-то идей. И вот идея насильственного преобразования, переделывания, подгонка под определенные идеалы, которые им казались правильными, эта идея лежит в основе всего махизма на практике. А у нас оказалось так, что Ленин вроде бы теоретически разбил Богданова в этой работе, но практика шла с Богдановым, а не с Лениным. И в результате махисты у нас господствовали на протяжении 20 годов, а затем на практике все это вылилось в то, что мы называем командно-административной системой или сталинизмом. Сталин, Каменев, Зиновьев, Бухарин — все они в общем-то были воспитаны идеями махизма. И идеи Богданова были им ближе и понятнее, чем ленинские работы, ленинские идеи. Я об этом писал еще два года назад, тогда это прошло незамеченным...

Корр.: Но в прошлом году с критикой ваших работ выступили С. Рогов и В. Носенко.

Кузьмин: Они не знают отечественной истории... В девятом номере журнала «Новый мир» за прошлый год вышла статья Гангнуса. Он пишет о том же на материалах Луначарского, пишет о социалистическом реализме (понятие «соц. реализм» ведь тоже идет от махизма начала XX века). И опять — идея волюнтаризма, волевого вмешательства, попытка решать все силой. Затем «Вопросы философии», номер первый за этот год, там вышла статья Лебедева. Опять-таки речь идет о том, что культ Сталина и богостроительство начала века того же Луначарского — явления одного порядка. И это действительно так. Некоторые истоки уходят в левый радикализм XIX века. И не случайно, скажем, что в споре с нашими легальными марксистами Бердяевым, Булгаковым Луначарский защищал наших народников и субъективный идеализм. Да и Горький в свое время говорил, что ему больше нравятся Луначарский и Богданов, потому что в отличие от Ленина и Плеханова это была активная философия — философия действия, тогда как те вроде бы предполагали следовать за самой историей. Вот эта активность, активная философия и наломала в итоге дров. Она стоила нам десятков миллионов жизней. Проводить все это могли, естественно, только люди, безразлично относящиеся к судьбам народа, на котором ставятся эксперименты... Вот сейчас «поднимают» Бухарина. У Коэна есть интересные рассуждения, такого, например, рода: почему нужно Бухарина и Троцкого реабилитировать? Потому что Бухарин и Троцкий были за мировую революцию против национал-большевизма. Американский империализм, выходит, больше устраивает мировая революция, чем национал-большевизм. Любопытное явление: мировая революция, оказывается, вовсе не мешает, не вредит империализму. Они задним числом ее как бы оправдывают. Но Коэн-то там и разъясняет, почему предпочтительнее Бухарин, нежели Троцкий: он просто легче здесь будет принят. Недавно опубликовали заявление Бухарина, Рыкова, Томского по поводу их критики в 29-м году. Это заявление показывает, между прочим, что по основным вопросам, которые сейчас рассматриваются как основные, у них как раз и не было расхождений с группой Сталина в Политбюро. Они отвергают обвинения, что они не согласны в чем-то в этой... кардинальной линии. А реальные расхождения остаются пока не вскрытыми (по крайней мере, в полной мере не вскрытыми). Заметим еще вот что — в первом составе правительства

и позднее удельный вес лиц еврейского происхождения был весьма высоким и в значительной степени за счет эмигрантов из Соединенных Штатов Америки, из других стран (европейских стран, в частности). Все это к слову. Кстати, некоторые из них были связаны с сионистскими организациями, кто-то не был, кто-то стоял на позиции ассимиляции, кто-то продолжал сотрудничать с теми же сионистскими организациями. 29-й год — год великого перелома сопровождался массированной идеологической обработкой — тут все выступали против антисемитизма: Луначарский, Бухарин — это 28-й год еще, Ларин специальную книгу выпустил, и Сталин, кстати, тоже выступал с осуждениями антисемитизма, так что все эти массовые репрессии шли под знаменами борьбы с антисемитизмом тоже. Эта сторона вопроса довольно интересна и требует отдельного разговора, сейчас стоит еще раз повторить мысль Селюнина, что для борьбы с коренным населением власти опирались на иноземные штыки. Аппарат был противопоставлен народу. И задача сейчас должна заключаться в том, чтобы этот аппарат был поставлен под контроль народа, прежде всего под контроль именно трудящихся...

Корр.: Об этом писал и Ленин в работе «Как нам реорганизовать рабкрин». Думаю, стоит немного остановиться на судьбе этой статьи, она, кстати, показательна в характере отношений Владимира Ильича с членами Политбюро. А потом вернемся к разговору о борьбе с сионизмом — дело это довольно серьезное, опасность которого нельзя преуменьшать.

Кузьмин: Хорошо. О ленинской работе. Когда Ленин эту статью предложил в «Правду», то Политбюро (по предложению Куйбышева) приняло решение опубликовать один экземпляр — для Ленина — обмануть его попросту. А в тираж не давать. Но потом все-таки решили статью напечатать, но разослали циркуляр — что это болезнь Ленина говорит, то есть они тут же скомпрометировали эту статью и Ленина заодно. Они в этом отношении были дружны... И циркуляр этот был подписан Сталиным, Зиновьевым, Каменевым, Троцким, Бухариным — все они его подписали. Ленин эту опасность, конечно, давно видел, но последние годы он просто решительно настаивал на изменении всей политической структуры. Показательна дискуссия, которая прошла в декабре 20-го года; Ленин критикует брошюру Троцкого о рабочем государстве, он говорит: «государство у нас не рабочее, а рабоче-крестьянское». — «Что, что?» — голос сзади, Бухарин кричит: «Рабоче-крестьянское?!» То есть Бухарину это показалось кощунством, как это крестьян тоже можно взять в государство! Это был декабрь 20-го года, это был канун нэпа, и у нас ни Троцкий, ни Бухарин еще не допускали даже мысли, что с крестьянством надо делить власть. А Ленин доказывал необходимость добиваться того, чтобы каждый мелкий крестьянин мог участвовать в строительстве социализма. Вот, собственно, его основное направление мыслей и переосмысление им характера социализма и сути его, и направления в социалистическом строительстве. Но в то время это, по существу, никем не осознавалось. Он был в значительной степени одинок. Это удивительно, но одиночество его поражает: на протяжении с 17 по 24 год оно все время ощущается. И мне представляется, что когда сейчас пытаются в одну кучу свалить, скажем, и Ленина, и Троцкого, а это делается постоянно — есть такие тенденции — значит, с одной стороны, Сталина отбросить, а, с другой стороны, реабилитировать Троцкого, Зиновьева, Каменева и т. д. Либо реабилитировать их вместе с Лениным, либо отбросить вместе с Лениным. Потому что если между ними нет никаких различий, то, значит, и вину за преступления они должны взять все на себя вместе. И тогда надо будет зачеркивать и Октябрь и идти, скажем, к Февралю. Это одна из идей, которая в нашей печати сейчас проходит подспудно. И одна из целей — соединение Ленина с Троцким и со всей этой

компанией, с которой он, можно сказать, всю жизнь воевал. Цель здесь двоякая — либо вытащить их на Ленина, либо Ленина потопить вместе с ними. Причем очень часто обе эти цели предполагаются одновременно. И сейчас одной из главных задач является очищение ленинизма от этих наростов. Иногда, скажем, на съездах, он вынужден был уступать и отступать. И в политике, естественно, когда он в меньшинстве постоянно, он вынужден уступать. Но мы должны это разделить, потому что конструктивное начало мы все-таки можем найти только в ленинизме. В противном случае, нам просто будет не на чем удерживать и позиции социализма в настоящее время.

Теперь ваш вопрос по борьбе с сионизмом. Я думаю, что борьба эта сейчас должна принять несколько иные формы. Дело в том, что раньше сионизм у нас, в основном, находился в подполье. Сейчас положение изменилось. Многие сионистские организации выходят на поверхность, легализуются, и сейчас очень трудно отделить возникающее еврейское землячество от сионистских организаций в том смысле, как мы их всегда понимали. В «Известиях», московский выпуск 13 февраля, дается информация о создании еврейского культурного центра на базе еврейского театра. Центр Михоэлса. Торжественное утверждение этого центра прошло. Кто приветствовал? Кто приезжал из иностранных гостей? Президент Всемирного еврейского конгресса Бронтман (то есть это одно из первых лиц сионистской иерархии). Далее целый ряд лиц крупных еврейских международных организаций (тоже, собственно, сионистских организаций). Кто приветствует? Приветствия прислали: Маргарет Тетчер, госсекретарь США, премьер-министр Австралии и прочие неназванные. Бронтман обещал 50000 долларов созданной организации. И дал ряд советов, как нужно легализовать все еврейские организации. Не надо добиваться их слияния, пусть они действуют отдельно, независимо друг от друга. То есть то, что мы раньше бы рассматривали, как самая откровенная сионистская акция, причем в прямых связях с зарубежными, с американскими, в данном случае, сионистскими организациями, — теперь подается в центральной прессе, как рядовое, нормальное явление.

Не так давно опубликовала рижская газета материал Залман Каца о создании еврейского культурного общества, вернее, прообраза этого культурного общества в Риге. Это семинар по иудаике, по изучению иудаики. Семинар существует с середины 70-х годов. Существовал он ранее нелегально. А теперь легализировался. И хорошо, что легализировался. Потому что теперь мы видим, чем они занимаются, раньше мы этого не видели. Он там упоминает, скажем, что там у них был сам Анатолий Рыбаков в свое время. Но тогда это делалось нелегально, где-то они там собирались. Теперь все это можно сделать торжественно и пышно, с билетами пригласительными или с платными билетами. С большим уважением говорится о помощи материальной, которую им оказывает Израиль, у них отличная библиотека, где имеются известные сионистские издания, есть там и Симон Дубнов, Мартин Бубер (известные сионистские деятели).

Вот статья в «Советской культуре» от 9-го февраля Рогова и Носенко, где они ратуют за создание тоже организаций, землячеств своего рода еврейской национальной культуры. Здесь я, пожалуй бы, сказал, что если что мне у них кажется неприемлемым, это то, что они эту еврейскую национальную культуру хотят прикрыть именем Ленина. Дело в том, что у Маркса и Ленина евреи не признаются нацией. С точки зрения Маркса, это — химерическая национальность, является на самом деле социальным продуктом истории. Он связывает это с развитием идеи торгашества, эгоизма, своекорыстия, его статья «К еврейскому вопросу» — одна из лучших, блестящих просто статей Маркса, которую в свое время Ленин очень высоко оценил. Он не назвал первой, в которой

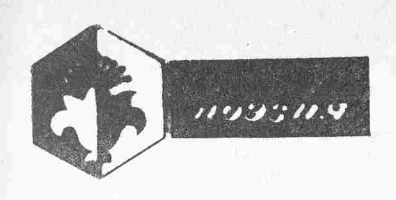
Маркс резко, рельефно обозначил все принципы своего мировоззрения. И Ленин тоже считал, что идея еврейской нации — реакционна. Ложна и реакционна по своей сути. Это он высказал в работе «Положение Бунда в партии». О том же говорил и в «Критических заметках по национальному вопросу». В воспоминаниях Диманштейна (сборник «У великой могилы») упоминается о том, что Ленина бундовцы не любили за то, что он не признавал евреев нацией. Поэтому ссылки на Ленина в данном случае некорректны.

Сейчас у нас реально проходит процесс создания культурно-национальных организаций повсеместно, и, хотя я лет 20 воевал против лозунга «культур-национальная автономия», сейчас считаю, что мы эту полосу должны пройти. Полосу организации в рамках культур-национальной автономии. Все народы. Но здесь уже получается так, что раз одни уже мобилизовались, отмобилизовались, в рамках культур-национальной автономии, то и другим надо мобилизоваться, иначе все будет делаться за их счет. Здесь пассивные и опоздавшие окажутся в проигрыше. Потому что для чего организовываются? Для того, чтобы не просто отстоять свои права, но и добиться каких-то привилегий. Сейчас пока идет борьба за привилегии. К сожалению, за 70 лет существования Советского государства мы не обеспечили равенства народов. Не обеспечили принципа социальной справедливости. Имеются отдельные привилегии, скажем, для коренного населения. В республиках со смешанным составом это особенно заметно. Поскольку мы этого не обеспечили, то неизбежно реакция такая, как консолидация, организация на национальной основе. Возникновения такого рода землячеств. Но когда все организуются в рамках землячеств — все равно придется возвращаться к территориальному принципу. При разделении по культурно-национальным признакам, как сейчас в Латвии, — даже начинают делить школы, которые были с совместным обучением, теперь эти школы рассыпаются. И скоро они не смогут вообще даже и работать вместе. Правда, рабочий класс там, в основном, русскоязычный, но не везде так. Создается столько неудобств, что в итоге-то все это обернется большими потерями. Но на данном этапе я не вижу другой возможности, как одним организациям противопоставлять другие. Иначе просто все это пойдет в одну сторону.

С точки зрения теории, евреи остаются социальным продуктом, а не нацией. Вообще нация без теории, без единого языка, без своего рабочего класса это нонсенс. Это именно организация, а не нация. Тут Маркс прав, как глубоко прав и Ленин, когда говорил о касте. Каста во всем мире, и в общем-то привилегированная, поскольку нет территории, она стоит на экстерриториальной форме организации. Но силой здесь ничего не решить, а идеологическая борьба, очевидно, будет продолжаться и успех ее будет зависеть от того, насколько окажутся действенными, активными силы, противостоящие этим центробежным тенденциям. Сейчас все-таки пока еще рабочий класс не включился в активный политический процесс. Он волнуется, его не устраивает то, что происходит, и, хочется верить, что скоро он выйдет на политическую арену. А часть рабочего класса, в той же Риге, как мы говорили, уже выходит. У нас он еще не очень-то проявил себя. Одна из последних встреч Генерального секретаря ЦК КПСС с представителями рабочих коллективов показывает, что беспокойство в рабочем классе в связи с происходящими событиями в стране очень большое, то есть не все то, что происходит у нас, удовлетворяет рабочий класс. И он все-таки еще свое слово скажет. И в заключение, я еще раз повторю, что борьба тут обязательно будет, потому что идеи несовместимы: скажем, те же Рогов и Носенко, с одной стороны, обвиняли Бегуна в том, что он якобы смешивает еврейство и иудаизм, а с другой стороны, они сами же говорят о том, что вот православию дали права, давайте права и иудаизму. То есть сами они признают, что,

по существу, в основе-то этой культуры находится иудаизм.

А если мы возьмем религию иудаизма и даже сопоставим ее просто с христианством — это же противоположные религии по морали. Основные принципы морали здесь разные. Богоизбранность народа — это основная религиозная идея иудаизма. В христианстве этого не может быть, как еще Энгельс говорил, это первая религия, которая обращалась ко всем народам без различия и ко всем социальным слоям без различия. Это религия, в которой идея равенства лежит в основе. А в основе иудаизма лежит идея неравенства. Жизнь для других — или жить за счет других — принципы, как вы понимаете, очень разные. И когда речь идет о религиях, на мой взгляд, надо исходить не из того, что это религиозное освоение мира или какая-то мистика, а из того, какую мораль они несут.





Владимир СКУРИХИН

ЖИЗНЬ КРАСНА У МИРА НА ВИДУ...

□ □ □

Брожу по деревянным городам.
Читаю деревянные узоры.
Здесь годовые кольца по годам
Расскажут о расцвете и разоре.

Торговые кварталы узнаю
По каменным нездешним завитушкам.
На паперти полтинник подаю
Поникшим, но таинственным старушкам.

И лепту на Данилов монастырь
Бросаю в храме в жестяную кружку.
И в темноте слежу, как нетопырь
Чертит круги весенние с подружкой.

И звезды забираются в хвою
И чистят посвежевшие иголки.
Но я иглу сердечную таю,
Чтобы кого-то не поранить колко.

Брожу по вечным плахам листвяка.
Прикуриваю от сосновой спички.
Сибирская Россия велика.
А жизнь короче клюва серой птички.

Как мне умерить роковую прыть,
Звонница, моя белая невеста?
Стремлюсь всю подноготную раскрыть,
Но многословье чаще неуместно.

А впрочем, нагота — еще не срам.
Бахвальство подаяньем — святотатство.
Но в нашем сердце тот отстроит храм,
Кто на земле не собирал богатства.

И годовые кольца по годам
Расскажут о расцвете и разоре
Тем, кто по деревянным городам
Пройдет, читая мудрые узоры.

КРАСНЫЙ СКАРАБЕЙ

Роняет пестрое перо сорока.
Пиши пером романы, человек.
О, время, отпусти меня до срока,
Дай позабыть, какой сегодня век.
Привольно взросший под кустом ранета,
Разводит опахалами репей.
Пусть говорят: «Недобрая примета».
Но что за диво — красный скарабей!

Остановить мгновенье невозможно.
Но вот возник посланец пирамид,
И время стало мумией подложной.
И день ненастный в саркофаг закрыт.
Изрыла небо странная погода.
Не прочитать по солнцу время дня.
Я разгадаю лабиринт исхода.
О, времена, забудьте про меня!

Писать пером... Где огонек приветный?
Сквозь детство путь, от предков, их натур.
Дед Николай — сапожник незаметный.
Дед Михаил — гуран и балагур.
Два русских, своего достойны века,
Крещеные, страдальцы, простаки,
Сюжет для тех, кто ищет человека,
Два берега живительной реки.

Лишь помнит мама: «Заплетал мне косу...»
Лишь помнит папа: «На плечах носил...»
Дед Николай расстрелян по доносу.
Погиб в бою воитель Михаил.
Мой сад земной, ты добрая планета.
Но с временем я вечно не в ладу.
А скарабей — прекрасная примета.
И жизнь красна у мира на виду.

□ □ □

Нравы новые делают моду.
От отваров светлеет душа.
Но к чему намагничивать воду?
В Ангаре она так хороша.

Из окошка светло поглядите.
Этот свет чище воздуха мне.
Облепиху в сироп не кладите,
Не томите ее на огне.

Тянут вниз дорогие излишки.
Накопительство — сладостный грех.
Но не парьте кедровые шишки,
Не калите сибирский орех.

И еще завещаю любимым,
Чтоб не гнили в дешевых гробах,
А ушли по весенним разливам
С тихой властью любви на губах.

Пусть вас примет весеннее солнце.
Приласкает живая вода.
Этот мир никогда не замкнется.
Мы — совсем — не уйдем никогда.

Мы введем еще звездную моду.
Чистотой засверкает душа.
Окунувшись в байкальскую воду,
Бесподобно она хороша.

□ □ □

Белые лебеди в небе
Ищут дорогу любви.
Люди пекутся о хлебе.
Хлебы пекутся людьми.

В облике сонного лета
Дева, замыслив хлеба,
Непониманьем задета,
Бурю сверзает со лба.

Ветры свирепствуют в хлебе.
Выстыла старая печь.
Мало печемся о небе.
Как тут зерно уберечь?

□ □ □

Что не взойти в пожаре зеленям,
Про это тополь праздничный не знает.
И рассыпает манну голубям,
Коробочки семян освобождает.

В избытке сил — бесчисленность путей.
А невозможность их пройти — утрата.
И жизнь всегда открыта для потерь.
А смерть вообще ни в чем не виновата.

□ □ □

Река, что за диво,— как лента, свернулась в колечки.
Незнамая воля измяла равнину в лога.
А сосны-то, сосны-сестрицы на красном крылечке
Глядят завороженно на заливные луга.

Как жизнь хороша! В одиночестве быть не умею.
Со мною все травы, да изредка лишь — колосок.
И крест, что родимая в детстве надела на шею.
И солнце крылатое — дятлом колотит в висок.

О, если б ты умер! — кричали слепцы на дороге.
О, если б ты умер! — мне ворон кругами летал.
О, если б ты умер! — шепнули друзья на пороге.
О, если б ты умер! — мне скрипнул желанный портал.

Меня не впускают — живого — родные ворота.
Надежные други восславить не смеют окрест.
Слепые прозреют, и птицы оставят заботы.
Но путь православный — всегда восхожденье на крест.

Россия не знает истока своих поколений.
Но сколько б небесную высь не чернила беда,
Так знайте, я умер. В отечестве траура нет.
Но сосны за речкой над странно-задумчивым логом
Притихли, чтоб слышать, как грузди выходят на свет.
На головы падает пепел истлевших стремлений.
И снова яснеют глаза и светлеет вода.

Так знайте, я умер. Прозрение ваше залогом.

□ □ □

В этом раненом теле не болеет тоска,
Стонет память о проклятом деде.
Сбита с корня былинка, но сердцу близка,
Словно гимны бессмертным в Ригведе.
Сколько трав было скошено страдной порой,
И земля, как сиротка, разута.
Но стога порождают зароды горой,
И грядет вавилонская смута.

Все пески междуречия — сено лугов.
Все ушедшие — песни рассвета.
Не ворочайте почву. От этих плугов
Чернозем иссыхает за лето.
Стать кочевником снова — опасная прыть.
Но поможет небесная веша
Даже в том, что рассыпалось, снова отрыть
Клинописную песнь Гильгамеша.

Я уздечку сниму, позабытую встарь.
Как наладить упряжку, узнаю.
Отступи и рассейся, недобрая хмарь.
Свет небесный — родимому краю!
По обычаю деда — улыбка отца
Пусть затеплится в робком рассвете,
Пусть она перельется в родные сердца
Словно проповедь в Новом завете.

Владимир Евгеньевич Скурихин родился в 1949 году в поселке Стан-Утиный Магаданской области. Учился в Иркутске в педагогическом институте иностранных языков и в институте народного хозяйства. Сменил ряд профессий. Работает пекарем на Иркутском хлебозаводе. Публикуется в периодической печати.



ДНЕВНИК В. Н. ПЕПЕЛЯЕВА

Наступившее время гласности все больше и больше приоткрывает завесу над многими страницами отечественной истории. Вот одна из них, ранее малодоступная для широкого читателя, страница одного из лидеров кадетской партии и белой гвардии периода гражданской войны и военной интервенции в СССР.

Обыкновенная общая тетрадь в линейку. Картонная обложка. Чуть пожелтевшие от времени страницы. Они исписаны красивым каллиграфическим почерком. Текст прочитывается свободно. Записи сделаны то простым, то химическим карандашом, то черными чернилами. Это — дневник Виктора Николаевича Пепеляева, последнего председателя Совета Министров колчаковского правительства, расстрелянного вместе с адмиралом Колчаком в ночь с 6 на 7-е февраля 1920 года по постановлению Иркутского революционного комитета.

Позднее — в мае—июне того же года — в Омске состоялся процесс еще над 24-мя колчаковцами (Червен-Водали, Шумиловским, Красновым, Ларионовым, Морозовым, Грацииановым и др.). Пятеро из них также были осуждены к «высшей мере социальной защиты».

Оригинал дневника Пепеляева хранится в Центральном государственном архиве Октябрьской революции в Москве (ЦГАОР СССР), а экземпляры машинописного текста дневника находятся в Госархиве Иркутской области (ГАИО; ГАНО). Начало записи — 14 сентября 1918 и конец — 2? октября 1919 года. Извлечения из дневника Пепеляева были опубликованы в иркутском журнале «Красные зори», в № 4 и 5 за 1923 год, но неполностью: окончание дневника было напечатано в 31-м томе исторического журнала «Красный архив» за 1928 год (Москва—Ленинград).

Предлагаемый текст дневника печатается по машинописной копии, хранящейся в ГАИО. Она сверена с опубликованными текстами, которые сейчас являются библиографической редкостью.

Несколько слов об авторе дневника. Виктор Николаевич Пепеляев родился в 1884 году в семье ветеринарного врача. Воспитывался и вырос в Сибири. По окончании университета преподавал историю в средних учебных заведениях г. Бийска. Впоследствии примкнул к правому крылу кадетской партии. Был членом Государственной думы 4-го созыва от Томской губернии. После февральской революции Временное правительство направляет его своим комиссаром в Кронштадт для восстановления там гражданской и военной власти. О петроградско-кронштадтском периоде с 28 февраля по 23 июня 1917 года Виктор Николаевич оставил дневниковые записи и впечатления. (Рукопись хранится в ЦГАОР СССР).

Летом 1917 года вступил добровольцем в 8-й Сибирский мортирный дивизион кор-

ниловской армии. После Октября В. Н. Пепеляев выдвигается на авансцену как активный член организации «Национальный центр». По заданию его Московского отдела в августе 1918 года он пробирается в Сибирь, где уже началась гражданская война, и ведет энергичную агитацию за установление единоличной военной диктатуры. В сентябре того же года отправился в вояж по городам Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Цель: повидать семью, эвакуировавшуюся на станцию Маньчжурия, и выяснить политическую обстановку на местах. По дороге выступает с докладами, информацией, инструктирует кадетские партийные комитеты. Встречается и беседует с одним из организаторов белочешского мятежа Рудольфом Гайдой; претендентом на верховную власть — начальником Управления КВЖД генералом Хорватом и другими. Если на Восток В. Н. Пепеляев ехал в поезде бывшего первого российского премьер-министра Временного правительства князя Львова, то в Западную Сибирь он возвращался в одном поезде с А. В. Колчаком, будущим диктатором, с которым он встретится чуть позднее и станет самым верным его соратником до конца своих дней.

9 ноября 1918 года Пепеляев на конференции кадетов в Омске избирается председателем ЦК восточного отдела партии. Однако на этом посту он пробудет недолго. 18 ноября группа казачьих офицеров (Волков, Красильников, Катанаев и др.) произвела в Омске переворот; была упразднена Директория, арестованы и высланы из страны ее эсеровские руководители (Авксентьев, Аргунов, Зензинов). Деловой кабинет Директории — Совет Министров — во главе с П. Вологодским передал временно «осуществление верховной государственной власти адмиралу А. Колчаку, присвоив ему звание Верховного Правителя». Так осуществились планы В. Пепеляева и его сторонников. В. Пепеляев посчитал, что ему надо формально выйти из партии и занять соответствующий пост в окружении диктатора. Такой пост — директора Департамента милиции — ему был предоставлен. 4-го марта 1919 года В. Н. Пепеляев становится уже товарищем (заместителем) Министра внутренних дел, вытеснив Грацианова, а с 18 июля того же года А. Колчак утверждает его в должности Министра Внутренних дел вместо Гаттенбергера. В этой должности В. Пепеляев являлся автором различных правительственных законоположений, направленных на укрепление власти А. Колчака и его окружения. Но ни один из основных вопросов в пользу рабочих и крестьян не решался.

Из дневника мы видим, какую точку зрения он занимал в вопросе иностранной военной интервенции, являясь до конца ее верным сторонником. Перед нами проходит целая вереница представителей стран Антанты, которых он называет союзниками: контр-адмирал Танака, генерал Таканаги, Черчилль, Жанен, Бальфур, Моррис, Нокс, Уорд и т. д. Даже по мере продвижения в глубь Сибири 5-й Красной Армии и отхода белочехов от активной военной помощи В. Пепеляев продолжал придерживаться правого курса во внутренней политике, презрительно отзывался о либеральной позиции общественности.

Между тем политика террора, реквизиций, мобилизаций и атаманщина вызывали в широких слоях рабочих и крестьян, а также некоторой части интеллигенции Сибири ярую ненависть против колчаковщины. В тылах развивалось партизанское движение. То тут, то там вспыхивали восстания в крупных городах и гарнизонах. 14 ноября 1919 года частями 5-й Красной Армии был освобожден г. Омск. Разгромленные в боях, деморализованные части армий Колчака все дальше откатывались на восток, к Иркутску. Приближался конец.

22 ноября 1919 года В. Пепеляев Указом Верховного Правителя назначается председателем Совета Министров вместо П. Вологодского. Но это назначение уже ничего не могло изменить. По пятам деморализованных колчаковских частей двигались красные дивизии 5-й Армии Восточного фронта.

В двадцатых числах декабря власть в Иркутске временно переходит к эсеро-меньшевистскому Политцентру. А. Колчак, официально отрекшись от власти в пользу генерала А. Деникина, лишается личной стражи и едет в поезде под «покровительством» интервентов.

15 января 1920 года поезд А. Колчака прибывает в Иркутск. Белочехи, как бы откупаясь, выдают его представителям Политцентра, который вскоре передал власть Иркутскому ревкому. Бывший Верховный Правитель и бывший премьер-министр были заключены в Иркутскую губернскую тюрьму, а затем расстреляны.

Теперь, знакомясь с документами о гражданской войне, мы воспринимаем не все так однозначно, как воспринимали еще совсем недавно. Все оказывается гораздо сложнее, в том числе и деятельность В. Н. Пепеляева в истории гражданской войны и военной интервенции в Сибири.

Так, современник В. Пепеляева, видный эсер и журналист Е. Е. Колосов, встречавшийся с ним в поезде князя Львова, писал в своей книге «Сибирь при Колчаке» (Петроград, 1923 г.):

«Пепеляев уже в это время (сентябрь 1918 г.) стоял совершенно определенно за ориентацию на японцев, что было для него очень характерно, и самым энергичным образом требовал союза с атаманом Семеновым. Его очень умиляло также трогательное внимание японцев к вопросу о восстановлении монархии в России».

А теперь обратимся к дневнику.

Вступительная часть, комментарии, именной указатель и публикацию дневника подготовили зав. отделом информации, публикации и научного использования документов Государственного архива Иркутской области В. М. Серебренников и член Союза журналистов СССР П. К. Конкин.

Дневник В. Н. Пепеляева

(Начат в сентябре 1918 и заканчивается 23 октября 1919 года)

1918 год
СЕНТЯБРЬ
14.

Виделся с ген[ералом] Ивановым. Обстановка: 1) Японцы высадились в количестве 70 тысяч, американцы — 10 тысяч, французы и англичане — 1 тыс[яча]. Японцы пока не идут дальше Читы. Вологодский заключил с японцами соглашение; они ставят свои гарнизоны только по просьбе Сиб[ирского] Правительства[1]. Фонды Сиб[ирского] Правительства на Востоке растут. 2) Пали Симбирск и Вольск. Ген[ерал] Галкин просит помощи, но оказать ее нельзя. Иванов предложил ехать вместе с ним до Челябинска, где он будет видеться с ген[ералом] Сыровым. Корпус Анатолия[2] идет сюда. Виделся с И. А. Михайловым. Серебренников будет углублять разногласия с самарцами[3], казаки и к.-д. идут на компромисс.

Михайлов и Иванов передавали, что на Уфимском совещании в Директорию[4] выдвигают: Болдырева, Авксентьева, Аргунова и Роговского. Участвуют в этом выдвигании и самарцы. Роговского государственные элементы[5] будут отводить. Мне кажется, что Авксентьев на чем-то сошелся с самарцами, как и Болдырев.

В 8 часов выехал в поезде кн[язя] Львова на Дальний Восток. Интересный разговор с кн[язем] Львовым о том заседании в ставке, после которого был уволен Брусилов и назначен Корнилов. Все генералы резко осуждали Керенского, а Де-

никин и Рузский буквально его уничтожили, как воен[ного] министра. Керенский сидел, положив голову на стол, и молчал. Больше он в ставке не показывался. Дело Корнилова, по словам князя, началось еще на Гос[ударственном] Совещании[6]. Керенский все это время до самой ликвидации Корнилова не порывал общения с князем. Князь уверяет, что Керенский сам не виноват и стал жертвой Савинкова, Филоненко, Некрасова и др. В. Чернов, по мнению князя,— германский шпион.

18, среда.

Газ. «Воля Сибири». Красноярск. Действительно, «Союз Возрождения» викжелит — (см. декларацию Болдырева)[7].

Ирк[утская] соц[иалистическая] газета «Сибирь» заканчивает свою передовицу так: «На этот раз опасность не только слева, но и справа и даже больше справа». Вот современное настроение эс-ов всех толков.

19, четв[ерг].

Иркутск. На вокзал приехал пред[седатель] Комитета к.-д. Федоров. У него был Патушинский и лично заявил, что в отставку он не ушел, потому что ее не приняла Обл[астная] Дума[8]. Будто бы и Вологодский просил его остаться. Прав-во Дербера[9], по словам Патушинского, д[олжно] б[ыть] ликвидировано. А из Прав-ва Хорвата[10] и нет лица (Хорват, Устругов, Флуг). Интересовался, не пересмотреть ли своего отношения к думе и к.-д., если правительство уравняет представительство цензовых элементов с социалистическими. Что это за заигрывание предсмертного характера? Я изложил Федорову позицию Нац[ионального] Центра и ЦК[11] и свой взгляд на Сиб[ирское] Правительство. Местные к-д. желают нового съезда к.-д.

20, пят[ница].

Комедия, разыгрываемая Патушинским, удрученно подействовала на кн[язя] Львова. В газетах: объявления Иркутск[ого] Губ[ернского] Комиссара о том, что отставка Патушинского не принята Обл[астной] Думой.

21, суб[бота].

На ст[анции] Моготуй мы впервые увидали японских солдат (караул). На станции японский флаг. Японцы снабжены книжками для разговора с русскими. В книжке, между прочим, есть такие слова: «Большевик», «Антибольшевик», «Сов[ет] Раб[очих] и Солд[атских] Депутатов», «Диктатор», «Временное правительство» и т. д.

Японский солдат охотно с нами упражнялся по этой книжке. На мой вопрос: «Куда вы собрались»,— он махнул рукой на запад. А затем стал комбинировать по своей инициативе слова: «Япония — сильный», «Россия — слабый», «Германия — сильный», «Англия — слабый», «Франция — слабый», «Австрия — слабый», а после всех перечислений снова: «Япония — сильный». Звонок помешал нам узнать оценку Америке.

Ст[анция] Оловянная. Мост разрушен сильно, поезда ходят по деревянному временному мосту.

Князь передал свой разговор здесь с представителем при союзных войсках — с Эллиот. Он совершенно не знает, что в России и Сибири. Едет в Омск посмотреть на все своими глазами. Войска в Сибири: японских — 7 тысяч, англичан — 5. Французов и американцев по одной тысяче. Идут канадские войска. Будет увеличена численность японцев. (Все это далеко от тех данных, о которых говорил мне ген[ерал] Иванов в Омске на основании сообщений Гайды).

Японцы не расположены идти дальше Иркутска. Американцы до сих пор «сочувствуют» большевикам. Все это задерживало выступление. Между союзниками[12] и теперь нет полного единогласия. Но стратегическое объединение, будто бы, достигнуто.

Оценка разных правительств союзными видна из следующих слов англичанина: «Мы вели переговоры с Хорватом и так называемым Сибирским Правительством». Японский генерал, ехавший с нами от ст. Оловянной, спросил у князя: «А много ли у вас сторонников монархии?» и потом

добавил: «Это было бы самое лучшее». Он заведует передвижением войск и чрезвычайно низкого мнения о состоянии Забайкальской жел[езной] дор[оги].

Здесь мы узнали, что Хорват, Востротин и Таскин во Владивостоке, где и Вологодский.

22.

Ст[анция] Маньчжурия. Я расстался с князем Львовым. Мы расцеловались, он на прощание сказал мне: «Желаю вам успеха насчет монархии».

28.

Ст[анция] Маньчжурия. Виделся с ген[ералом] Гайда в его поезде. Едет на запад. Очень обрадовался моему визиту. Начали с положения здесь. Интриги и больше ничего. Во Владивостоке совещания, встречи и пр. продолжаются.

По мнению Гайды, сам Хорват и его деловой кабинет — почтенные люди, но вокруг них вьются мелкие честолюбцы и интриганы из военных кругов. Кроме того, все они в руках японцев, как и Семенов.

О союзниках. Вопрос о военной помощи остается открытым. Они готовы помогать лишь снабжением и финансами, но и то лишь, когда будет единое правительство. Теперешним правительствам[13] они не доверяют. Искренне хотят помочь Англия и Франция.

Япония преследует территориальные интересы (до Иркутска). Америка следит за Японией. Последнее нам выгодно, так как защищаться от Японии мы можем только дипломатически. Мы в деле борьбы с большевиками и германцами можем надеяться лишь на самих себя. Мне удалось получить обещание о снабжении Ср[едне]-Сибирского Корпуса всем необходимым.

Перешли к вопросу о власти.

Я сказал, что не поехал на Уфимское совещание, ибо не верю в создание таким путем прочной власти и что спасение в единоличной военной диктатуре, которую должна создать армия.

— Но выдвигайте же лицо.

— В Москве мы намечали ген[ерала] Алексеева, но его нет.

— Алексеев очень ценен, как специалист, но он стар для диктатора.

— Деникин.

— О, да. Но ведь его также нет.

Затем Гайда заявил, что он тоже не верит в Уфимское совещание и в твердость директории («Они будут оставлять жить тех, кому жить не следует»).

— Какой же, по-вашему, выход? Военная диктатура?

— Конечно.

— Я очень рад, что узнал лично ваш взгляд. В своих интересах вы его не высказывали.

— Да, пока не все готово. Пока не организованы военные силы. Вот идет Колчак.

На это я сказал, что в Москве наметили ген[ерала] Алексеева, но с ним нет никакой связи. Между тем, время идет. Колчак имелся ввиду, но как второй кандидат. Его возможно поддержат. Но когда это может быть?

— Дней через двадцать. Чехов мне удастся убедить.

— А как же он думает?

— Мы одинаково думаем. Он меня поддержит.

Гайда обещал дать телеграмму Колчаку, чтобы он встретился со мной в Маньчжурии. Колчак едет дня через 2—3.

По выходе от Гайды из газет узнал, что в Уфе образовалась директория из 5 членов[14], обязавшаяся содействовать съезду членов Уч[редительного] Собрания и скорейшему созыву Учредительного Собрания.

Итак, государственные элементы пошли в социалистическую Каноссу[15]. Соглашение заключено.

Октябрь.

1) Правительство Хорвата. История, силы, планы.

2) Цель поездки Вологодского. Относительно Хорвата.

3) Союзники. План. Согласованность. Пределы помощи Японии, намерения.

4) К.-д. и друг[ие].

2.

Выехал во Владивосток.

3.

Харбин. Встреча с членом Комитета к.-д.

О «Всероссийск[ой] власти».

4.

Владивосток. В помещ[ении] делов[ого] К-та Хорвата[16]. Рассказал о положении в Омске и Уфе. Говорят, что многое пошло бы не так, если б я с этими данными приехал раньше. Меня искали и вызывали с целью включить в Дел[овой] Каб[инет] (Народн. Прав.). Соглашение с Сибирским Правительством состоялось. В деле ослабления позиции Каб[инета] Хорвата большую роль сыграл Семенов (это можно было предполагать после моего разговора по прямому проводу с Анатолием).

Моя телеграмма (через Анатолия) здесь не получена, мнение о Колчаке членов дел[ового] Каб-та: человек с совершенно издерганными нервами.

5.

Доклад комитету партии к.-д. о политической обстановке. Выслушан с особенным вниманием. Некоторую роль комитет играет. В комитете заметно левое и правое течение, но расхождения неглубоки. Пред[седатель] М. Н. Вознесенский познакомился с ген[ералом] Хорватом.

7.

1) Сделал доклад о политическом положении Общему собранию К-та несоциалистич[еских] организаций, Биржевого Комитета, Исп[олнительному] Бюро торговли и промышленности. Много к.-д. Люди ждут указаний и вождей.

2) Вечером доклад К-ту партии о тактике. Прошли мои тезисы. Левое течение побледнело. Ко «Всеросс[ийскому]» Правительству относятся в большинстве отрицательно.

Во Владивостоке к.-д. не имеют своего органа. «Голос Приморья» близок, но левее. Предполагается краевая конференция к.-д. 9 октября. С Запада — телеграммы о необходимости съезда. Будто бы, Ц. К. назначил его на 20 октября в Екатеринбурге (тел. из Омска). Я предложил отложить до 15 ноября. Принято.

3) Живу в поезде Делового Кабинета Хорвата на берегу «Золотого рога». Иностранные суда. В городе солдаты и матросы японские, американские, французские и английские. Масса автомобилей. В городе много большевиков. При перевыборах их попало много в Думу — больше 50 человек. Выборы кассированы.

8.

I. Наконец, говорил с ген[ералом] Хорватом. Высокий рост, умное лицо, длинная седая борода. Выдержка и, говорят — чрезвычайное терпение.

Сначала я изложил ему положение, остановившись дальше на отношении к его кабинету членов Сиб[ирского] Правительства, партий и групп, ознакомил с телеграммой, посланной мною Востротину и Таскину 4/IX.

Вот главные данные из его слов.

Сиб[ирское] Пр[авительство]. Он сначала видел свою задачу в помощи всем военным организациям (Семенову, Калмыкову и пр.), затем его убедили в необходимости принять власть, т. к. рядом начали действовать дерберовцы, что было гибельно. Взаимоотношения с сиб[ирским] Правительством неясны. Есть симптомы нежелания вместе работать. Хорват особенно винит его в том, что Сиб[ирское] Прав[ительство] уклоняется от отклика на неоднократные предложения помощи со стороны Японии, которые делаются через Хорвата. Другим симптомом являются назначения комиссаров.

Хорват уже имел объяснение с Сиб[ирским] Прав[ительством] и заявил им, что он вел с ними переговоры как с порядочными людьми, не потребовал у них полномочий. Хорват упрекает сибиряков в допущении образования негосударственного Всероссийского Правительства.

Союзники. Отношения к соглашению неопределенные. Японцы советуют Хорвату настаивать, чтобы условия соглашения осуществились вполне.

Ближайшие намерения союзников неясны. Англии и Франции нужен сначала фронт, потом порядок.

Японии — прежде всего порядок в соседних областях.

В аннексионистские стремления Японии Хорват не верит. Англичане [Нокс] и японцы хотят формировать русские войска. Японцы предлагают сформировать 20 тысяч, дав полное снабжение и не вмешиваясь в командование. Эти 20 тыс[яч] должны остаться на Востоке[17].

Англичане намерены формировать главным образом для восточного фронта. Из союзников англичане, французы и японцы высказываются уже за монархию у нас. Затем Хорват рассказал о своей встрече с Гайдой и [...]. Разговор велся, главным образом, с последним. Я,— говорит Хорват,— особенно опасался прямого вопроса о признании Сиб[ирского] Прав[ительства] и вел разговор так, чтобы избавиться от этого вопроса. И это удалось.

Назначение Кадлеца вызвало осложнение со стороны Китая. Китайцы прислали бумагу, в которой не признают ни Кадлеца, ни Плешкова [заместитель Хорвата] и просят Хорвата отдать соответствующее приказание. Он эту бумагу показывал: «Они и меня не признают»,— заявляет генерал. Придется ехать улаживать. Но по тону, каким он произносит последние слова, видно, что его-то они признают еще.

Все дело в том, как объяснил Хорват, что в прежнее время всякие назначения и ввод войск происходили секретно и китайцы этого допускали. Теперь приказ отдан явно и китайцы по обстановке могут вспомнить о своем суверенитете.

Хорват предполагает на несколько дней съездить в Харбин[18], а затем снова во Владивосток. «Своего флага я не спущу».

II. Выехал на запад вместе с делегацией Делового Кабинета (Окороков и Востротин), едущей в Омск, для реализации соглашения. За несколько минут до нас выехали в Омск же члены Сиб[ирского] Прав[ительства] (Вологодский и др.).

9.

Поезд. Востротин и Окороков рассказали историю Правительства Хорвата. В феврале и марте на Д.-Вост[оке] перебывали группы «Сибирск[ого] Правительства» (Захаров, Моравский, Дербер, Краковецкий, Жернаков, Несметулов, Тибер-Петров, Колобов и др.) и членов Областной Думы.

Востротин, прибывший в марте в Харбин, отправился в Японию, был у членов парламентских партий (сейюкай, кенсекай, кокуминто). Имел сношение с марш[алом] Ямагатой, одним из двух членов Генро[19]. Японцы дали надежду на то, что если к ним русские обратятся, они поставят вопрос перед союзниками.

18 июня. Состоялось совещание общественных организаций (Дальне-Восточ[ного] Комитета к.-д. и др. деятелей) с участием Сиб[ирского] Прав[ительства] по вопросу о призыве союзников. Ценз[овые] элементы[20] не хотели связывать этот вопрос с вопросом о создании власти. Наоборот, «Сиб[ирское] Правительство» выдвинуло вопрос об его признании, как условие. Это было отвергнуто. Обращение к союзникам прошло.

20 июня. Состоялось «Демократическое совещание» по тому же вопросу признания власти «Сиб[ирского] Прав[ительства]». Провалилось. В этом большую роль сыграл Окороков, заявивший, что объявление власти Сиб[ирского] Прав[ительства] повлечет за собой оглашение им данных ревизий.

29 июня. Свержение большевиков во Владивостоке и объявление там власти «Сиб[ирского] Прав[ительства]» во главе с Дербером.

9 июля. Объявление власти Правителя Хорвата на ст[анции] Гродеково.

21 июля. Вторая поездка Востротина в Японию. Интервенция была решена, но прав[ительству] Хорвата не было дано никаких надежд на признание. Роль Америки.

10 августа. Высадка иностранных войск во Владивостоке. Переписка с Маклаковым отдельно.

10.

1) Прибыли в Харбин. Через несколько минут отошел поезд Вологодского на запад. Говорят, Вологодский здесь заявил, что «Делового кабинета» не существует.

2) Послал телеграмму в Омск с просьбой отложить съезд к.-д. до 15 ноября.

11.

1) Сделал доклад объединенному заседанию Дальневосточного комитета и коми-

тета к.-д. о Москве, Уфимской власти и Сиб[ирском] правительстве с выводами, как во Владивостоке.

Востротин о соглашении.

Здесь понимают, что соглашение — поражение Делового Кабинета.

2) Германия действительно стремилась с просьбой о мире к президенту Соед[иненных] Шт[атов].

Общий вывод по Дальневосточ[ным] делам. Соглашение.

1) Сиб[ирское] Правительство преследовало лишь одну цель — уничтожить правительство Хорвата.

2) Правительство Хорвата слабо и не хотело казаться сильнее, чем есть. Решающий удар ему нанесен Семеновым в Ононе.

3) В результате соглашения Правительства Хорвата не существует. А войдут ли его деятели в общий кабинет — неизвестно.

Союзники.

1) Цели союзников и ближайшие задачи никому неизвестны. Вероятно, и им самим.

2) Опасаться аннексионистских стремлений Японии — нет данных (убеждение Хорвата, Востротина и др.).

12.

Харбин. Получена телеграмма о новых событиях в Омске.

15.

Чита. В вагоне 3 члена комитета к.-д., ничего не знают. Связи нет даже с Харбинским Комитетом. «Призыв» стал получать только на днях.

Востротин и я информировали о восточных и западных делах. Я передал свои тезисы по тактике. В Комитете, как видится, два течения. Председатель П. П. Малых, газ[ета] — «Забайкальская Новь».

17.

Иркутск. У нас в вагоне был Федоров и Горчаков. Передавали о неловком шаге ген[ерала] Иванова, заявившего в обществе офицеров, что японцы — враги. Комитет относится ко Вс[еросийской] власти скептически. Мы информировали о Д[альнем] Востоке. Я оставил статью для «Свободного края» — «Новые потрясения» и свои тезисы по тактике. От Федорова узнал, что Белорусов в Уфе и издает «Отечественные Ведомости». (Очевидно, под флагом нац[ионального] центра). Съезд к.-д. перенесен на 15 ноября.

21.

Приехал в Томск.

22.

Томск. Доклад Томск[ому] К-ту к.-д. о **Дальнем Востоке.** Были члены партии. Видных членов очень мало. Здесь играли большую роль второстепенные члены Петроградск[ой] агитац[ионной] Комиссии.

23.

Профессор Диль рассказал мне о своих впечатлениях от Екатеринбурга в связи с вопросом о судьбе отрекшегося императора[21]. Целый ряд людей убежден, что он жив.

24.

Томск. Здесь больше месяца бастуют рабочие типографии, где издается «Сиб[ирская] Жизнь», получая большую поддержку от забастовочного фонда. Томск кишит большевиками. Бастуют официанты. Забастовки, безусловно, политические. Соц[иалистические] газеты выходят.

В университете работает Совет Старост, избранный еще при большевиках. Кажется, скоро должны быть перевыборы.

24, четв[ерг].

Сделал доклад К.-ту к.-д. об общем политическом положении с тактическими выводами.

Доклад не вызвал возражений.

Потанинский кружок[22] относится ко Всер[оссийскому] Правительству отрицательно. По его мнению, организационная роль во Всероссийском масштабе должна принадлежать Сиб[ирскому] Правительству (беседа с Гаттенбергером).

У эс-ров недавно был нелегальный съезд, на котором они признали, что массы от них уходят и решили вести агитацию в целях получения прежнего влияния. Агитация демагогического характера ведется и в деревнях. В Мариинском уезде восстание 7 волостей вспыхнуло на днях.

Ж.-д. забастовка была задумана в широких размерах, но были лишь частные вспышки, быстро ликвидированные.

На некоторых станциях работы возобновились в срок, назначенный военными властями. Из арестованных в тайге расстреляны двое.

27.

Ознакомился с «Отеч[ественными] Ведомостями» по нескольким номерам. Ведет линию «Нац[ионального] Центра», ко Всер[оссийскому] Правительству отношение сдержанное, а в статье «Равнение налево» даже полуотрицательное, по крайней мере в отношении состава и ответственности. Указывается путем намека и выход для власти: «Россия и история будут судить ее не по обстановке, в которой она возникла, а по делам».

В № 2 «От[ечественных] Вед[омостей]» опубликовано [тел. из Челябинска от 8 (X)] положение об органах Центр[ального] Управ[ления] (Министерства) и органах областного автономного управления. Конструкция довольно сложная, но не в этом главная опасность, а в том, что никто точно не знает, какие в конце концов области автономны. Упоминается, между прочим, и совет управляющих ведомствами Комитета членов Учредит[ельного] Собрания.

В тел[еграмме] из Омска («От. Вед.» № 7) сообщается, что Сов[ет]) Упр[авляющих] Вед[омствами] ком[итета] членов Учр[едительного] Соб[рания] довел до сведения Вс[ероссийского] Пр-ва, что в настоящее время считает нецелесообразным свое существование, как органа областной власти.

28.

Из Омска идут сведения о том, что Сиб[ирское] Правительство, как орган Верховной Власти, больше не существует. Будто бы, взаимоотношения установлены в духе положения, о коем записано вчера.

29.

Томск. Был у Адрианова. Он имеет некоторые сведения из Омска: соглашение, упраздняющее Сиб[ирское] П-во, действительно 22 заключено; текст его получил[23]. Разногласия возникли из-за персонального состава. С-ры возражают против Михайлова и Гинса, включенных в первоначальные списки. Из-за состава все соглашение задерживается. В Омске настроение тревожное. Министры боятся арестов и не ночуют дома. Тут же путаются Ободзумцы. В директории, говорят, такое распределение: одна сторона — Авксентьев, Зензинов и Виноградов, другая — Вологодский и Болдырев.

30.

Выехал из Томска в Омск.

Ноябрь

1.

Омск. Бегло. 1) Говорил с Михайловым. Соглашение состоялось. Персонально советывался. Готов. Предлагает мне войти в кабинет представителем от Хорвата. Разлад внутри, Востротин отказывается.

2) Говорил с Бородиным, выехавшим из Москвы 5 сент[ября]. Виноградов вошел по совету чл[ена] нац[ионального] ц[ентра] Белорусова и Бородина.

Бородину казалось, что раз создание правительства осуществилось, то нельзя быть в стороне. В то же время Бородин согласен со мной, что Астров давал согласие совсем не на ту комбинацию.

3) В Омске много членов мест[ных] и Российск[их] Комитетов (Каз., Сам., Уфа). Передают, что меня очень ждут.

3.

Втроем (Востротин, Бородин и я). Были у Виноградова. У человека еще не прошло изумление от неожиданности «избрания». Беседа не привела к чему-либо определенному. Я вел разговор в таком направлении: относясь отрицательно к Уфимскому компромиссу, мы после и вследствие согласия Сиб[ирского] П-ва с Директорией готовы выразить доброжелательное отношение к Правительству, но нам нужно знать для этого хотя бы настроение власти по вопросу об Уч[редительном] Соб[рании].

Ответом нам был какой-то лепет. Личное его настроение будто бы совпадает с нашим.

Утром Михайлов передал мне текст разговора с ним ген[ерала] Иванова-Ринова по аппарату из Владивостока. В Иркутске он был японофобом, но во Владивостоке он

стал японофилом. Из текста видно, что все сводится к личной судьбе.

4.

Решили создать здесь отдел Ц. К.[24]. Освобождение территории. Потребность эта создается давно. К-д и беженцы Поволжья создали какой-то суррогат, которым многие недовольны.

5.

Долгая и интересная беседа с адм[иралом] Колчаком. По его мнению, в настоящее время нужно оказать поддержку власти. В дальнейшем все дело в том, будут ли Авксентьев и Зензинов связаны с своей партией. Если да, с ними невозможно. Если нет, все бы пошло спокойнее. Положение военного министра сейчас невозможное — у него нет исполнительных органов. Затем губит военное дело «Атаманщина». Нельзя бороться эволюционным путем. С ней надо покончить сразу. «Атаманщина» не только в казачьих областях, но и в каждом корпусе. Выполняя поручение национального центра, я сказал ему, какие надежды Центр возлагает на ген[ерала] Алексеева. Сказал, что Центр упоминал и Колчака, но просил меня с ним переговорить в тех целях, чтобы эти два имени не стали друг против друга. Колчак с большой решительностью заявил, что ген[ерал] Алексеев, если он жив, для него и сейчас является Верховным Главнокомандующим. «Если бы я имел власть, то, объединившись с Алексеевым, я бы отдал ее ему. Мало того, мое уважение к Алексееву так велико, что если Деникин является его преемником, то я власть отдам Деникину». Адмирал с большим уважением относится и к Деникину.

Дальше Адмирал изложил свой взгляд на диктатуру. Диктатор должен иметь два основания: победу и огромные личные достоинства. У Алексеева пока нет первого, но есть второе. У меня нет ни того ни другого, но если будет нужно, я готов принести эту жертву. Однако форсировать событий не надо. Власти нужно оказать поддержку. С Дона от Гришина-Алмазова получена телеграмма. Генерал Алексеев умер 10 октября. Преемником его генерал Деникин.

8.

Беседа с П. В. Вологодским. Полчаса. Вологодский выглядит утомленным.

— Я хотел бы коснуться общих политических вопросов в пределах, какие вам самим угодно будет установить.

— Пожалуйста.

— Наша точка зрения: Результат Уф[имского] Совещания — недопустимый компромисс. К Директории по существу мы относимся отрицательно. К Сиб[ирскому] Пр-ву у нас было доброжелательное отношение, которое еще усилилось после соглашения с Правительством Хорвата. Если бы Сиб[ирское] Правит[ельство] не признало Директории и само стало бы Всероссийским Правительстом — даже это было бы одобрено. Сиб[ирское] Правит[ельство] избрало несколько иной путь. Заняло вместо Всероссийского Совета М-ров. Мы считаем, что и этим оно в значительной степени ослабило ошибку Уф[имского] Совещания. Мы готовы сказать, что Совет М-ров заслуживает поддержки, но нам нужно предварительно знать его точку зрения на ряд вопросов, как Обл[астная] Дума.

— Областная Дума созывается в воскресенье. Я и Болдырев еще сегодня высказывались против, но Директория решила созвать. Дума дала гарантии остаться в намеченных пределах. Долго упрямились соц.дем[ократы], но и те обещали, если понадобится, сидеть для кворума и молчать. Если обещания Дума не выполнит, будут приняты решительные меры.

— Как Совет Министров относится к съезду Чл[енов] Учр[едительного] Собран[ия]?

— Они вели себя возмутительно во время переезда в Екатеринбург, на вокзалах вмешивались, ругались, ругали офицеров. Мы будем следить и против их вмешательства протестовать.

— К созыву Учред[ительного] Собрания? Я предупредил, что жду не обещаний, а мнения в интимной беседе.

— Вообще, я против Учр[едительного] Собр[ания] данного состава. Однако, думаю, надо созвать, дали клятву и мы бы-

ли бы узурпаторами. Конечно, вряд ли в январе сможет собраться. Но если члены Учр[едительного] Собрания пойдут за Ц.К. эс-ров (последняя прокламация), то мы не постесняемся и с Учред[ительным] Собранием[25].

По поводу прокламации Ц.К. с.-р. Вологодский сообщил, что Зензинов и Авксентьев осуждают этот шаг и в эсеровских кругах есть намерение выпустить контрпрокламацию.

Дальше об Астрове. Ясно, что Вологодский недоволен Виноградовым: «вот был бы Астров, многое бы устроилось».

Я изложил свои предложения об Астрове, давшем согласие не на ту комбинацию, что случилась в Уфе. Он не согласился бы на Уфимские условия. Убежден, что Астров поставит условием гарантии несозыва, правда, м[ожет] б[ыть], в такой же интимной форме, в какой мы сейчас говорим.

Вологодский повторил о своем отношении к Учр[едительному] Собр[анию], соглашаясь, что обязательства должны уступить долгу перед благом государства.

Коснувшись съезда, я спросил, до каких, по его мнению, пределов целесообразно противопоставить Совет М-ров Директории.

— Мне кажется, резко противопоставлять не стоит.

Я изложил всю конструкцию. Вологодский слушал, улыбаясь, и потом сказал, что в таких тонких выражениях это вполне возможно.

Я сказал, что это, разумеется, наряду с поддержкой Сов[ета] М-ров мы заявим о вредности созыва и непризнании съезда.

9.

Избран Президиум Вост[очного] Отд[ела] Ц.К. Председатель — Пепеляев, тов. Председателя — Жардецкий (Омск) и Клафтон (Самара). Чл[ен] Бюро — Бородин, секретарь — Соловейчик (Самара).

Ген[ерал] Гайда с фронта прислал ультиматум об устранении ген[ерала] Белова от должности начальника штаба в течение 48 часов, угрожая двинуться на Омск.

11.

Был у Виноградова. Он не осведомлен об ультиматуме. О Белове определенно отрицательного мнения. В. сообщил, что Областная Дума распустилась спокойно. Он не понимает обстановки.

12.

В. через К. сообщил мне, что В. будет убран в течение недели. Отдел Ц.К. принял тезисы моего доклада, наиболее спорный пункт собрал больше 5 против 2 (п. II).

13.

Вчера от Колчака получена приблизительно след[ующая] телеграмма: «Ознакомившись с материалом и убедившись из разговора с ген[ералом] Гайда об антигосударственной деятельности Белова, считаю необходимым его устранение».

Беседа с Виноградовым и Ключниковым. Они убедили меня смягчить тезисы.

14.

Показали новую телегр[амму] Колчака. Тот требует ареста Белова и привоза его в Екатеринбург, а также устранения Иванова-Ринова (Сов. Мин.).

15.

Востротин, Бородин, Коробов и я были у Виноградова. Бородин и Коробов убеждали его поднять в Директории вопрос о ликвидации Учр[едительного] Собр[ания], избрав поводом записку Ключникова. Востротин пессиместически заметил, что это бесполезно, ибо все равно это на два-три дня отсрочит вопрос о диктатуре. Я больше молчал и лишь заявил, что Вин[градов] обязан иметь план действий, между тем, он его не имеет и, видно, не хочет иметь, последствием чего может быть такая обстановка, в которой решение придется принимать в 5 минут.

16.

Вчера открылась наша конференция. Съехалось около 25 делегатов. Вчерашнее заседание информационное (доклады мой и Бородина) о Моск[овских] ЦК (Центрах).

Сегодня мой доклад от О[тдела] Ц.К., о тактике партии. Была посторонняя публика и члены партии.

Возражал по докладу Бородин.

17.

Конференция: продолжались прения по моему докладу. Подавляющим большинством (41—1) приняты мои тезисы (диктатура, осуждение Уф[имского] Совещания, противопоставление Сов[ета] Мин[истров] Директории, поддержка Сов[ета] М-ров). Поправки Бородина отвергались почти единогласно.

Веч[ером] (4-е) засед[ание]. Мой организационный доклад (устав ВОЦК) принят[26]. Доклады Кудрявцева и Жардецкого. Я ушел с конференции на совещание.

Совещание. Участвовали все. Решено. Я поехал к П. Полная налаженность. Описать потом.

18.

Только в 11 часов узнал, что переворот произошел[27]. В полдвенадцатого поехал к Виноградову, но не застал его дома. Он был в Сов[ете] М-ров. От Б. узнал, что арестованы Авксентьев, Зензинов, Аргунов, Роговский — все на квартире. Батальон охраны разоружен. Сопротивления нигде никакого. В 12 час[ов] Сов[ет] М-ров вручил Верховную власть Колчаку. Из 13 записок 12 подано за него и за Болдырева I. В начале заседание Сов[ета] М-ров не клеилось и могло все лопнуть. Михайлов попросил перерыва и подготовил за него министров. Все пошло гладко.

Блок растерялся[28]. Никто ничего не знал. Только моя информация (около 2-х часов дня) несколько успокоила блокистов. Жардецкий, которого здесь считают всезнающим, абсолютно ничего не знал, о заговоре узнал лишь утром.

Вечером.

Конференция. Я сделал заявление о перемене власти и предложил приветствовать новую власть. Встречено восторженно.

Доклад Жардецкого о блоке. Приняты тезисы. Конференция закончена. Она сыграла большую роль.

19.

Ночью неопределенно для себя попал к адмиралу. Составляли вместе с ген[ералом] Андогским и полк[овником] Лебедевым обращение к населению. Было несколько проектов, написанных офицерами, и проект (незаконченный) самого Колчака.

Составили новый, краткий. Колчак сказал, что обращение нужно немедленно для союзников, причем они хотят, чтобы было сказано о демократии, отсутствии реакционных намерений и об армии. Так и составили. Адмирал чрезмерно устал. При встрече я приветствовал его от конференции.

Утром видел Михайлова. Он чем-то недоволен.

Информ[ировал] С. Англичане довольны. Уорд заявил Колчаку, что англ[ийская] часть в Омске в распоряжении адмирала. Французы доброжелательно нажимают на чехов в целях их нейтрализования. Разговор Колчака с Болдыревым по аппарату. Болдырев лепетал что-то о кворуме Директории, о возможности на фронте осложнений. Колчак его прервал.

20.

Арестованные члены Директории выехали за границу через Китай, их сопровождает наш конвой в 50 человек и английский — 12. У арестованных настроение подавленное — не верят, что будут живы. Ген[ерал] X. рассказывал со слов арестованных, что офицеры караула обращались с ними вполне корректно, а солдаты очень грубо[29].

21.

Состоялся суд над непосредственными выполнителями переворота — Волковым, Красильниковым и Катанаевым[30]. Жардецкий произнес несуразную речь. Соловейчик выступил в роли какого-то эксперта политической обстановки. Вообще, с судом перемудрили. Было бы лучше, если бы его совсем не было.

22.

Зас[едание] Отд[ела] Ц.К. Признаны по моему предложению недопустимыми изолированные выступления от имени партии без санкции О. Ц.К. Я имею попытки окружить адмирала какими-то советчиками-любителями, а также попытки вмешиваться в иностранные дела (беседа с Ключниковым перед заседанием, который видит

в этом опасность). Вполне с Ключниковым согласен.

23.

Гаттенбергер предложил мне должность директора Департамента (по моему выбору). Я ответил, что согласен, но на правах т-ща М-ра. Он принципиально не возражал, но находит сейчас неудобным назначение тов-м М-ра видного партийного деятеля.

25.

Вполне обозначились два очага противодействия. Уфа — учредиловцы и Дальн[ий] Восток — Семенов. Последний прислал несколько телеграмм о непризнании Колчака. Выдвигает в Верх[овные] Правители Хорвата, Деникина и Дутова. Угроза — объявление востока самостоятельным в случае непризнания его кандидатур. Видна японская рука.

27.

Прошло уже 9 дней, а почти ничего не сделано для закрепления положения. Между тем, среди врагов начинается какое-то накапливание и «шевеление». Насущнейшие меры: организация государственной охраны, чистка местного аппарата управления и снабжения — на мертвой точке. К ним не приступают. В ставке — разлад. Воен[ного] Министерства нет. Сейчас критический момент. И если диктатура не проявит инициативы к обороне, она погибла и с ней погибнет все.

О. Мы пришли сегодня к выводу и к решению привлечь к этому внимание адмирала.

(Окончание следует).

Примечания

[1] Временное Сибирское правительство (В. С. п.) — мелкобуржуазная по направлению организация, нелегально созданная в Томске 9-го февраля 1918 г. сибирскими областниками.

В результате мятежа чехословацкого корпуса в конце мая 1918 г. белогвардейскими и чехословацкими частями был взят Томск и 1-го июня власть захватили находившиеся в городе члены Временного Сибирского правительства. Они объявили о создании Западно-Сибирского комиссариата. В июне комиссариат переехал в Омск. 23 июня 1918 г. группа членов В. С. п., оставшаяся в Томске, декларировала новый состав В. С. п. (председатель эсер П. В. Вологодский).

В то же время основной состав (во главе с П. Я. Дербером), находившийся во Владивостоке, 29 июня 1918 г., после занятия его белочехами, объявил себя «центральной властью Сибири». С образованием Уфимской Директории (23 сентября 1918) В. С. п. опубликовало 3 ноября 1918 г. декларацию о передаче власти на территории Сибири Уфимской Директории.

[2] Корпус Анатолия... Имеется в виду среднесибирский корпус белогвардейцев, которым командовал родной брат автора дневника, тогда еще генерал-майор, Анатолий Николаевич Пепеляев.

[3] Самарцы — группа членов разогнанного Всероссийского Учредительного собрания, собравшихся в Самаре.

[4] Директория, т. е. Уфимская Директория, (Временное Всероссийское правительство) — антибольшевистская организация, созданная 23 сентября 1918 г. на Уфимском государственном совещании представителями нескольких местных правительств и организаций, существовавших в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Состояла из пяти членов: Н. Д. Авксентьева (председатель), В. Г. Болдырева (главком), П. В. Вологодского, В. А. Виноградова и В. М. Зензинова. С 9 октября резиденция Директории находилась в Омске.

[5] Государственные элементы... Автор дневника так называет деятелей, положение которых определялось их общественным или должностным положением.

[6] Государственное совещание — Московское, орган представителей буржуазно-

помещичьих и мелкобуржуазных партий и генералитета, созванный Временным правительством в августе 1917 г. для объединения контрреволюционных сил.

[7] Союз Возрождения викжелит... Полное название организации — «Союз Возрождения России» (Москва, март 1918 — апрель 1919, отделения в Петрограде, Архангельске и др.). Контрреволюционная организация народных социалистов, эсеров и кадетов.

Викжелит — от названия Всероссийского исполкома железнодорожного профсоюза (август 1917 — январь 1918), который требовал включения некоторых своих лидеров в однородное социалистическое правительство, грозя, в противном случае, всеобщей забастовкой.

[8] Областная Дума (Сибирская) — антисоветская организация (декабрь 1917 — сентябрь 1918). 8 февраля 1918 г. Томский Совет рабочих депутатов произвел аресты ряда членов Думы, в том числе ее председателя И. Я. Якушева.

[9] См. выше.

[10] Перестало существовать осенью 1918 года.

[11] Позицию национального центра... «Национальный центр» — организация правых кадетов, активно помогавшая Деникину, Юденичу и Колчаку; доставляла им сведения о тыле Красной Армии, готовила переворот в Москве к моменту приближения войск Деникина. (О «Национальном центре» читайте подробнее у М. Н. Покровского: «Кадетский заговор», Известия ВЦИК, № 213, 216, 1919 г.).

[12] Союзниками В. Пепеляев называет страны Антанты.

[13] Теперешним правительствам... Под ними автор дневника подразумевает разные антибольшевистские образования и «автономии», которые союзники не признавали официально.

[14] См. выше.

[15] Каносса — замок маркграфини Матильды в северной Италии, где в январе 1077 г. в ходе борьбы за инвеституру отлученный от церкви и низложенный император Священной Римской империи Генрих IV униженно вымаливал прощение у своего противника римского папы Григория VII. В переносном значении «идти в Каноссу» — согласиться на унизительную капитуляцию. Автор дневника подчеркивает свое явное неодобрение поведения «государственных элементов» на Уфимском совещании.

[16] «Деловой кабинет» — антисоветское белогвардейское правительство на Дальнем Востоке; фактически создан летом 1918 г. в г. Харбине управляющим КВЖД генералом Д. Л. Хорватом. Имел непосредственную связь с «Дальневосточным Комитетом активной защиты Родины» и уч. собранием.

[17] Подобные формирования уже начинали создаваться в полосе отчуждения КВЖД. (См. «Допрос Колчака», Ленинград, 1925 г.).

[18] г. Харбин — один из главных пунктов контрреволюции на Дальнем Востоке. Там находилось Управление КВЖД.

[19] Генро [Гэнро], с конца XIX в. до 1940 г. внеконституционный орган в Японии; состоял из ближайших советников императора.

[20] Цензовые элементы... Категория населения России, права которой определялись их имущественным положением, домовладением, оседлостью, дающими преимущество в участии выборов местных органов (Городской Думы).

[21] В марте 1917 года по требованию петроградских рабочих последний российский император Николай II с семьей был арестован и находился под стражей в Царском Селе, затем был отправлен в Тобольск, откуда, после Октябрьской революции, — в Екатеринбург (ныне г. Свердловск). В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. при приближении к Екатеринбургу белоповстанческих и чехословацких войск Николай II и все члены его семьи были расстреляны по приговору Уральского Совета.

[22] Потанинский кружок... Имеется в виду актив сибирских «областников», идейным вдохновителем которых был популярный ученый и общественный деятель Сибири, почетный председатель Сибирской областной Думы, председатель временного

Совета Г. Н. Потанин.

[23] Речь идет о компромиссном соглашении членов эсеровского комитета Учредительного собрания и Сибирского правительства о создании единой Всероссийской власти в лице Директории. (см. выше).

[24] Восточный отдел ЦК партии кадетов.

[25] Так оно и получилось. До ареста эсеровских членов Директории и части членов Комуча (комитет Учредительного собрания) оставалось несколько дней.

[26] Устав восточного отдела ЦК партии кадетов.

[27] Здесь Пепеляев явно скромничает. Он не только знал о готовящемся перевороте, но и являлся одним из главных его вдохновителей. (См. Известия Сибирского отделения АН СССР. Серия: история, филология и философия. 1-й выпуск, 1989 г., С. 59—63).

[28] Блок растерялся... Блок политических и общественных объединений был создан кадетами осенью 1918 г. В его состав вошли: 1) Всероссийский совет съездов торговли и промышленности; 2) Центральный военно-промышленный комитет; 3) Совет кооперативных съездов; 4) Омский отдел «Союза Возрождения России»; 5) Омский комитет эн-эсов; 6) Омская группа партии эсеров; 7) Восточный отдел Центрального Комитета кадетов; 8) Акмолинский областной отдел национального союза; 9) Атамановская группа РСДРП («Единство»); 10) Казачьи войска (Сибирское, Забайкальское, Семиреченское и Иркутское).

С марта 1919 г. часть организаций, входивших в блок, стала пропагандировать идею создания представительного законосовещательного органа — типа дореволюционного Государственного Совета, составленного из представителей общественности по назначению и министров по должности; этим предполагалось ослабить влияние численно небольшой группы приближенных к Колчаку лиц. Особенно горячо это пропагандировалось газетой А. С. Белорусова «Отечественные Ведомости». В июле 1919 г. блок повел агитацию за снятие Вологодского с поста председателя Совета министров и обновление кабинета. На место Вологодского выдвигались кандидатуры кооператора А. А. Балакшина и упомянутого журналиста Белорусова. В. Н. Пепеляев и другие находили, что смена Вологодского произведет невыгодное впечатление внутри блока, и всячески противились этому.

[29] Арестованные члены Директории... После ареста в день переворота — 18 ноября, Авксентьев Н. Д., Зензинов В. М., Аргунов А. А. через два дня были посажены в поезд и отправлены до границы с Китаем. Переворотчики снабдили их приличной суммой денег и взяли обязательство, чтобы члены свергнутой Директории не занимались за рубежом подрывной работой против сторонников режима единоличной верховной власти.

[30] Суд был чисто бутафорский, для отвода глаз. Один из главных исполнителей переворота — офицер Волков, вскоре был произведен Колчаком в генерал-майоры.



Надежда **ПОЛУНИНА**

К ИСТОРИИ СИБИРСКОГО БАРОККО: ИРКУТСКАЯ КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ



СИБИРСКОЕ БАРОККО

Художественная культура русских в Сибири в XVII—XIX вв. до сих пор остается слабо исследованным звеном в исторической летописи необъятного зауральского края. Однако бесспорно одно: архитектура занимает в ней одно из самых почетных мест, а архитектурные памятники представляют самый мощный слой среди шедевров художественной культуры, дошедших до наших дней. Тонкий и глубокий исследователь русского искусства академик И. Э. Грабарь утверждал, что Россия — страна преимущественно зодчих. Строительный талант русской нации ярко проявился и в период заселения и освоения сибирских земель. Деревянные крепости, церкви, колокольни, хоромы, избы и даже амбары, бани, заплоты ставились по всем законам древнерусского искусства, в поразительном единении отточенных технических приемов и высоких эстетических качеств. И хотя «деревянная» Сибирь эпохи первопроходцев сохранилась буквально в считанных памятниках, каждый из них является произведением зрелого мастерства. Однако Сибирь оказалась не только достойной преемницей общерусского зодческого опыта.

Если в памятниках XVII века, этапа первоначального освоения Сибири русскими, еще нет резко выраженных региональных черт, то в памятниках XVIII века, периода упрочения на новых землях, Сибирь, отталкиваясь от опыта прошлого, от современной архитектурной и строительной практики, сумела «заговорить» своим языком. Здесь в рамках русского барочного искусства сформировалась своеобычная школа, получившая ныне права гражданства: сибирское барокко — эта специфически выраженная восточная ветвь русского барокко — прочно вошла в историю развития отечественного зодчества.

Своими корнями русское барокко уходит в узорочье второй половины XVII века. В середине XVIII столетия барочный стиль достиг в России наивысшего расцвета. Композиционная ясность, простота плановых построений, органичная связь между конструктивной основой и архитектурным декором, общий мажорный характер, смелое использование цвета, колористических контрастов — таковы основные особенности барокко, выросшего на русской почве.

Миновав Уральский хребет, барочные веяния нашли в Сибири благодатную почву и безраздельно господствовали едва ли не целое столетие. И, вероятно, благоприятствовали этому не только художествен-

ные свойства стиля. Распространение барочных мотивов совпало по времени со становлением самосознания русского населения Сибири, постепенного укоренения представления о ней как об отчем крае. И не в этом ли причина того, что архитектура в Сибири только в XVIII веке в барочном искусстве достигла своего зенита? Пришедший на смену барокко классицизм, буквально полонивший Россию и оставивший заметный след в отечественном зодчестве, в культовом строительстве Иркутска представлен двумя постройками — Иерусалимской, второй кладбищенской (1820—1935) и Успенской (1835—1846) церквями. Последующие стили также не составили эпохи в культовом зодчестве нашего города.

Сибирские памятники представляют собой переплетение нескольких локальных ветвей барокко: прежде всего московского или «нарышкинского», северного, отчасти уральского и, наконец, украинского. Искусство сибирских народов и сопредельных азиатских стран активно включилось в формирование сибирского архитектурного языка, сообщив ему особый «восточный привкус».

И. Э. Грабарь указывал на одно характерное свойство отечественного зодчества, которое он усмотрел «в чрезвычайной гибкости и эластичности туземных (русских — Н. П.) форм, необыкновенно легко и быстро поддающихся иноземным влияниям, которые, в свою очередь, так же легко и быстро перерабатываются. В результате наносные элементы нередко видоизменяются до полной неузнаваемости и приобретают печать подлинной, яркой самобытности»[1].

Сибирское барокко формировалось в ту эпоху, когда зодчество еще не утратило своей гибкости и эластичности, и потому шел не механический процесс соединения отдельных форм и приемов, а их творческий переплав.

Барочный стиль в Сибири развился и утвердился преимущественно в культовом зодчестве. В Иркутске он представлен тринадцатью храмами XVIII века: Спасской церковью (1706—1710), Богоявленским собором (1718—1746), Крестовоздвиженской церковью (1747—1758), Чудотворской церковью (1748—1765), Вознесенским собором одноименного монастыря (1749—1759), Тихвинской церковью (1754—1759), Знаменским собором одноименного монастыря (1757—1762), Троицкой церковью (1763—1775), Иерусалимской, первой кладбищенской (1775—?), Владимирской (1777—1780), Харлампиевской (1777—1782), Благовещенской (13 апреля — 15 ноября 1785), Преображенской (1795—1798). Однако в двух первых — Спасской церкви и Богоявленском соборе — и последних — Харлампиевской и Преображенской церквях нет ярко выраженных региональных черт. Причем в первых отчетливее проявляются стилевые особенности московского («нарышкинского») барокко при сохранении еще древнерусских мотивов; Харлампиевская церковь навеяна храмовым зодчеством Тотьмы (значит, до конца XVIII столетия не угасали художественные связи Иркутска с русским Севером, своей прародиной!); особняком стоит Преображенская церковь, выполненная в позднебарочных, скупых, если не сказать сухих, формах. К сожалению, не удалось найти изображений двух памятников, утраченных в XIX веке, — Иерусалимской (разобрана в 1867), Благовещенской (сгорела в 1879). Остальные — Крестовоздвиженская, Чудотворская, Вознесенская, Тихвинская, Знаменская, Троицкая, Владимирская полностью принадлежат сибирской барочной школе.

Поразительно, что эти семь церквей, довольно значительные по объему, выстроены в общей сложности за 33 года — в период с 1747 по 1780 год! Такой концентрации барочных культовых построек нет ни в одном сибирском городе. Уже по одному этому факту можно судить, насколько могущественным и богатым стал Иркутск в ту пору, по праву оспаривая у Тобольска звание сибирской столицы. С другой стороны, нельзя не прийти к выводу, что городу принадлежит особая роль в разработке сибирского барочного направления. Можно

---

[1] Грабарь И. Э. История русского искусства. М., 1909. Т. 2. С. 469.

даже утверждать, что Иркутск стал ведущим центром в развитии и утверждении особого языка региональной школы.

И не случайно, что самое зрелое произведение барочного искусства было создано на иркутской земле. Непревзойденным шедевром сибирского барокко по единогласному мнению исследователей признается Крестовоздвиженская церковь Иркутска (ул. Седова, 1).

ОБРАЗЕЦ НЕУВЯДАЕМОЙ КРАСОТЫ

Одиннадцать полных лет ушло на строительство Крестовоздвиженской церкви. Попробуем представить себе церковь такой, какой ее увидели иркутяне в середине XVIII столетия. Ведь редкий памятник архитектуры столетиями сохраняет свой изначальный облик. Жизнь властно вмешивалась в судьбу архитектурного сооружения. Рост города сопровождался ростом прихожан и, как следствие, появлением дополнительных объемов. Пожары, а для Иркутска и землетрясения, приводили к разного рода ремонтам, поправкам и исправлениям. Изменение художественных вкусов общества также накладывало свой отпечаток на облик старых сооружений. Так с течением времени затушевывался образ, рожденный его мастерами. И хотя Крестовоздвиженская церковь и сейчас производит сильное впечатление, нельзя не признать, что первоначальный облик был еще совершеннее. К счастью, распутать клубок наслоений для нашего памятника— задача относительно доступная.

В современном объеме сооружения четко прочитываются три строительных периода: первый, 1747—1758 гг., когда было возведено основное здание, второй, 1779 год, когда пристроили северный придел, третий — на 1860 год, когда возвели паперть. Дополнительные объемы, как это бывает почти всегда, резко выделяются иной пластикой и трактовкой декора. Мысленно отнимем северный придел и паперть и получим строго симметричную, почти вдвое меньшую по объему, компактную, ладную постройку, вытянутую с востока на запад с последовательным расположением по центральной оси собственного храма (четверика с апсидой), трапезной и колокольни.

Теперь обратимся к завершению. Здесь нам предстоит реконструировать только навершие колокольни. Придется убрать его вычурный верх до второго яруса звона. Теперь над ярусами звона поставим еще один, глухой (т. е. без проемов), и увенчаем его тонким граненым шпилем (примерно таким, как на колокольне Спасской церкви). Здание стало выше, стройнее. Не случайно такой тип постройки получил название «корабля».

Веками красовались эти гордые белокаменные корабли в «море» безбрежной деревянной застройки старых русских городов. И не один такой корабль «сел на мель» с утратой своего такого, казалось бы, обыкновенного и незнаменитого деревянного окружения. Это еще один пример нерасторжимой связи отдельных явлений, составляющих глубокое и емкое понятие «культура».

...Однако вернемся к реконструкции. Заменим стеклянные окна на слюдяные окончины. Удивимся, каким художественным эффектом обладал свободный рисунок старинных окончин по сравнению с жесткой, прямоугольно расчерченной стеклянной рамой. И взгрустнем: слюдяные окончины как священные реликвии сохранялись в церкви до... 1950 года. Потом исчезли неведомо куда.

Железные кровли также придется заменить, ибо в середине XVIII века каменные здания имели деревянные покрытия. На рубеже XVIII—XIX вв. на всех церквях Иркутска было установлено железо. Спору нет, металл долговечнее, более стойкий к огню. Но художественные качества деревянных кровель выше. Такая кровля плас-

тичнее, одухотвореннее. К тому же в арсенал художественных средств вводился цветовой эффект: с течением времени дерево приобретает особый матово-серебристый оттенок. Убедиться в неповторимой красоте такого сочетания белых стен с серебристыми крышами теперь можно разве только в Ростове Великом, в знаменитом Ростовском кремле.

Сильно искажает Крестовоздвиженскую церковь громадный объем паперти. А прежде на этом месте стояло традиционное для иркутских построек того времени каменное крыльцо с высоким маршевым всходом, перекрытым крутой односкатной кровлей. Такое крыльцо с его древней, какой-то даже языческой формой до недавнего времени имела Спасская церковь (1775—1781) села Урик. На глазах нашего поколения оно, увы, развалилось...

Тактично, со вкусом выполнена ограда памятника. Точнее, две ее стороны, северная протяженностью 150 м, и западная длиной 50 м. Ее красота и в основательном, каменном цоколе, перепады высоты которого призваны снивелировать перепады рельефа, и в каменных, квадратного сечения столбах, увенчанных шатрами с маковками. Внимательный взгляд заметит, что маковки в свою очередь чередуются с резными коронами либо многолучевыми звездами. Особенно привлекательны хороших пропорций металлические решетки между столбами и створки ворот и калиток, выдержанные в стиле барокко.

В прежние времена ограда была непременным атрибутом едва ли не каждого общественного здания либо частного дома. Каких только замысловатых ограждений нельзя было встретить на улицах Иркутска! Но во всем городе своим изящным рисунком выделялись ограды музея Восточно-Сибирского Русского Географического общества и Крестовоздвиженской церкви.

Входила ли она в художественный замысел строителей? Хочется думать, что ограда была поставлена изначально. Хотя существует предположение о ее более позднем происхождении. Относительно позднем, ибо документы 1790 года фиксируют ее в облике, хорошо нам знакомом.

Но, пожалуй, более всего поражает и восхищает в нашем памятнике кирпичная кладка стен. О зданиях с подобной «орнаментальной эквилибристикой» тот же И. Э. Грабарь писал: «Виртуозность отделки храма при сравнительно скудных средствах поистине изумительна. Обтесывая и укладывая кирпич и впрямь и вкось, вытесывая колонки и балясы и устраивая хитро сплетенные карнизы», зодчие достигали поразительного эффекта, когда «кирпичные узоры давали впечатление богатых тканей и хитро вытканных ковров»[1]. Нет, не случайно наше преклонение перед мастерами прошлого!

Один из наиболее глубоких исследователей сибирской ветви русского барокко Т. С. Проскурякова так определяет своеобразие пластического решения фасадов наших памятников: «Нарядные, лекально изогнутые многоступенчатые оконные наличники, крупномасштабные массивные зигзагообразные рельефы на лопатках и междуоконных поверхностях. Вдавленные рельефы, составленные из сочетания простых геометрических фигур (куба, ромба, креста, квадрата), пересекающихся, вытянутых рядами, взаимосвязанных вписыванием одного в другой, становятся излюбленнейшим видом настенных композиций, своего рода эмблемой декора сибирского барокко. Геометричность рельефных композиций подчеркивают протяженные узкие междуэтажные и карнизные декоративные пояса из мелкорасчлененных равномерно уменьшающихся кубообразных форм»[2].

Справедливость приведенного выше наблюдения оценит каждый, кто единожды видел Крестовоздвиженскую церковь. Среди иркутских памятников сибирского барокко она самая старая. Следовательно, при ее возведении активно разрабатываются те характернейшие отличия декора, которые в конечном итоге и выделили си-

---

[1] Грабарь И. Э. История русского искусства. М., 1909. Т. 2. С. 469.

[2] Проскурякова Т. С. Особенности сибирского барокко // Архитектурное наследство. М., 1979. Вып. 27. С. 149—150.

бирскую школу. Церковь эта стала золотым фондом, из которого мастера каменных дел и впоследствии черпали сюжеты декоративных панно. И не только для иркутских храмов. На фасадах собора Спасо-Преображенского монастыря, поставленного в 1749—1773 гг. на юго-восточном берегу Байкала, мы видим те же перфорированные колонки, обрамляющие оконные проемы, а карнизы составлены из часто поставленных ступенчатых кронштейнов. Счастливо найденные элементы декоративного убранства Крестовоздвиженской церкви по-новому блистают в последующих памятниках культового зодчества Иркутска, составляющих — при ярком своеобразии каждого — единую школу сибирского барокко. Иркутский памятник превращается в аналог, в образец для подражения — случай, едва ли не редкий в сибирской архитектуре, которая чаще брала в прообразы постройки по ту, европейскую, сторону Урала.

Первым оценил достоинства Крестовоздвиженской церкви И. Э. Грабарь. Он, как известно, явился инициатором создания, редактором и одним из главных авторов первой 6-томной «Истории русского искусства», выходившей в 1909—1916 гг., в которой на широком и по большей части впервые вводившемся в научный оборот материале рассматриваются проблемы происхождения, развития и национального своеобразия русской художественной школы. В числе памятников, впервые попавших в орбиту исследователей архитектуры, оказалась и иркутская церковь. Характеризуя искусство допетровского времени, И. Э. Грабарь останавливается на «узорчатости» храмов XVII века как важнейшей художественной особенности культовой архитектуры этого периода. Узорочье, по его определению, достигшее наивысшего расцвета в московской архитектуре, распространилось в провинции и дало там блестящие образцы. Среди наиболее оригинальных памятников названы церкви Соликамска, Мурома, Каргополя и Крестовский храм в Иркутске. О последнем читаем: «В большое изумление приводит живучесть традиционного стремления «приукрасить» в отдаленной и поздней по времени Крестовской церкви в Иркутске (1758). Наивные сочетания отголосков Москвы и Украины причудливо сплелись в густой узорчатый ковер, с своеобразным привкусом соседнего Востока»[1].

Вслед за «Историей русского искусства» в 1916 г. увидел свет труд, посвященный провинциальной архитектуре. Его автор Г. К. Лукомский, оценивая эпоху барокко в культовом провинциальном зодчестве, писал: «Из церквей раннего московского барокко, выразившегося своеобразно на провинциальной почве, надо упомянуть об иркутских церквах. Их много. Вдали от центра России приемы и вкусы барокко дали причудливые и особенные формы; здесь много оригинальности во всем: и в куполах, и в орнаментации стен. Крестовская церковь едва ли не лучшее в этом роде и не только в Иркутске, но и во всей Сибири, где, однако, много именно этого характера церковных сооружений.

Плетение, как кружево, стелящееся по карнизу, вдоль столбов, между окнами, составляющее обрамление этих окон, у цоколя — покрывает всю церковь, перекрытую барочными, очень странного силуэта, куполами. Лишь церкви Соликамска да Сольвычегодска могут сравняться с этим примером по богатству фантазии и прелести выполнения узорчатых деталей»[2].

К 1924 году относится публикация иркутского художника и критика Д. А. Болдырева-Казарина, в которой впервые вводится термин «сибирское барокко» применительно к памятникам художественной культуры Сибири XVIII века. Он первым обратил внимание на глубокое проникновение барочных элементов в иконопись, резьбу по дереву, в архитектуру. Излагая свою концепцию зарождения и развития этого стиля в искусстве Сибири, он в качестве наиболее яркого примера указывает

[1] Грабарь И. Э. История русского искусства. М., 1909. Т. 2. С. 143.

[2] Лукомский Г. К. Памятники старинной архитектуры России. Мг., 1916. Ч. 1. С. 92—93.

на Крестовоздвиженскую церковь.

Развивая тезис И. Э. Грабаря о влиянии на архитектуру Сибири соседнего Востока, Д. А. Болдырев-Казарин уточняет: «В Восточной Сибири сильнейшим влиянием оказалось... монгольское. (Точнее сказать — буддийское, ибо влияние характеризуется не расовым, а культурным признаком. Ближайшие к русским носители буддийской культуры — монголы, поэтому оставляю этот термин — «монгольское»). Да иначе и не могло быть. Азиатский Восток всегда был классической страной орнамента и русские тонкие мастера и любители «узорочья» не могли не поддаться еще раз очарованию изысканной экзотики искусства своих ближайших соседей... (Едва ли не лучшим образом такой явно монголизированной орнаментации являются стены Иркутской Крестовоздвиженской церкви, особенно южная стена. Даже не «наметанный» глаз сумеет заметить монгольские орнаментальные мотивы в пышном каменном кружеве, украшающем с особенным великолепием отверстия окон)... Такого насыщенного узорочья не знает даже московское барокко, известное своим тяготением к пышной каменной резьбе» — заключает исследователь[1].

Однако влияние Востока, по мнению Д. А. Болдырева-Казарина, проявилось не только в декоративной обработке фасадов. «В области архитектуры, — пишет он, — восточные влияния отмечены появлением церквей, напоминающих своим силуэтом буддийские ступы и пагоды — архитектурная форма, такая близкая и понятная русскому северянину, создателю шатровых церквей-богатырей и даже москвичу, творцу столпообразных храмов. (Пример ступообразного храма — та же Крестовская церковь в Иркутске)»[2].

[1] Болдырев-Казарин Д. А. Народное искусство в Сибири // Сибирская живая старина. Иркутск, 1924. Вып. 2. С. 10—11.

[2] Болдырев-Казарин Д. А. Народное искусство в Сибири // Сибирская живая старина. Иркутск, 1924. Вып. 2. С. 17

В заключение исследователь делает вывод о том, что народное искусство Сибири барочной эпохи имеет не только региональное или даже российское значение. Оно представляет интерес для всеобщей истории искусств, как «последнее звено в цепи евразийских художественных культур... Барокко — стиль по преимуществу декоративный, родившись в Италии, стране полуэкзотической, так много раз подвергавшейся всевозможным прямым и косвенным восточным влияниям, барокко, со дня рождения таивший в себе элемент восточной изнеженности, прихотливости и гибкости — обошел весь мир и пришел к вратам того же царства, откуда растут его отдаленнейшие корни. Круг замкнулся»[3].

Видное место, занимаемое Крестовоздвиженской церковью в архитектуре Сибири, вызывает пристальный интерес к истории ее создания, к судьбе памятника. Однако в литературе отсутствует не только монографическое исследование памятника, но сколько-нибудь более или менее подробное изложение его истории.

На основании известных и вновь выявленных материалов ниже делается попытка восстановить биографию памятника. Такая биография включает материал об основании предшественницы каменного храма — деревянной церкви, о возведении каменного здания и его дальнейших достройках, перестройках. Включены сведения о постановке памятника на государственную охрану, о составлении на него первичной учетной документации, о ремонтно-восстановительных работах; об изучении памятника в литературе.

Публикуемый материал, надеемся, будет интересен краеведам и всем любителям истории Иркутска. Возможно, он поможет специалистам в более углубленном исследовании памятника сибирского зодчества, а также во всесторонней и тщательной реставрации, которой он давно заслуживает и в которой давно нуждается.

[3] Там же. С. 17.

КРЕСТОВОЗДВИЖЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

1717 г. — дано разрешение от сибирского митрополита на постройку в Иркутске пятого храма. В том же году начаты работы. Место для церкви было выбрано на горе «у Креста», поставленного здесь еще в XVII веке как на территории, отведенной для женского монастыря. Впоследствии решение переменили и монастырь основали за Ушаковкой, а сохранившийся крест дал народное название новой приходской церкви — церковь Святого Креста (или церковь у Креста).

1718 г. — завершено строительство двухэтажной деревянной церкви, получившей официальное название Троице-Сергиевской по двум главным престолам. Храм освящал сибирский митрополит Филофей Лещинский, бывший в Иркутске проездом. Имя Лещинского связано со многими культурными начинаниями в Сибири: основанием театра, первой школы, началом каменного строительства.

1738 г. — срублена колокольня (стояла отдельно от храма) на средства церковного старосты Афанасия Сибирякова.

1742 г. — в Иркутский архиерейский приказ поступило прошение от Федора (Феодора?) Щербакова (одни источники называют его иркутским посадским, другие — купцом) на устройство вместо деревянной каменной церкви на собственные средства. Просьба не была удовлетворена (причина неизвестна).

1746 г. — в Иркутский архиерейский приказ поступило новое прошение такого же содержания от Ивана Филипповича Амосова (одни источники называют его иркутским посадским, другие — купцом). Просьба была удовлетворена.

1747 г.— начаты работы по строительству каменной церкви.

1758 г. — поступило прошение от священника Троице-Сергиевской церкви и от жены умершего И. Ф. Амосова освятить построенный каменный храм. Главный престол в честь троицы освящен 4 июня (по другим источникам — 11 сентября). Эта дата считается окончанием основных строительных работ.

1760-е гг.— по преданиям, деревянная церковь сгорела после того, как была выстроена каменная. На ее месте (справа от входа в церковь) был установлен своеобразный памятный знак — фрагмент стены с вмурованным в него камнем, на котором были высечены слова о том, что храм освящал в мае 1718 года сибирский митрополит Филофей Лещинский. Сама идея установки памятного знака на месте утраченного памятника для середины XVIII века едва ли может считаться обычным явлением. Любопытно, что для Иркутска это был не единичный случай. Памятный знак был установлен на месте сгоревшей деревянной Архангельской церкви, также освященной Филофеем Лещинским в 1718 году. Памятный знак у Крестовоздвиженской церкви сохранялся до 1918 года.

1774 г. — получено разрешение на строительство теплого северного придела. Вероятно, тогда же были начаты и строительные работы. Придел возводился на средства иркутских купцов Захария Щегорина и Стефана Дудоровского.

1779 г. — освящен северный придел.

конец XVIII — построена каменная двухэтажная богадельня (в углу ограды, слева от входа на территорию церкви).

начало XIX — деревянная кровля заменена на железную.

Заменены слюдяные оконницы на стеклянные рамы. Несколько старинных рам сохранили. В 1911—1912 гг. их фотографировал Н. Исцеленнов, около 1914 г. — И. И. Серебренников. Негативы первого и фотоотпечатки второго сохранились и дают возможность реконструировать первоначальные оконные заполнения — случай

не частый при восстановлении памятников архитектуры. Последний раз слюдяные оконницы видели в церкви в 1950 году.

1804 г. — освящен престол в честь Спаса Вологодского в правом приделе теплого храма. Интересно отметить, что когда связь Иркутска с русским севером стала угасать, престол был переосвящен во имя святого Николая. Случилось это в 1844 году (по другим источникам в 1852).

1825 г. — снят план церкви и выполнен рисунок южного фасада здания геодезистом И. Кожевиным. Материал представляет большую ценность для реконструкции первоначального облика памятника.

1828 г. — исправлен купол на колокольне церкви. Некоторые исследователи считают, что в этот период первоначальное завершение колокольни было заменено на ныне существующее.

1840-е гг. — выполнен рисунок церкви Р. П. Пежемским.

1860 г. — пристроена паперть по проекту архитектора В. Кудельского. Внушительный объем пристройки сильно исказил западный фасад памятника.

1867 г. — главный престол в честь троицы переосвящен в честь воздвижения креста, так как горожане упорно называли ее «церковь у Креста»: официальное название церкви слилось с народным.

1870 г. — первая публикация материалов о памятнике священника П. В. Громова в статье «Обзор управления епископа Иннокентия...» («Иркутские епархиальные ведомости», прибавления. 1870, 10 октября, с. 495—503).

1872 г. — публикация материалов о памятнике в статье «Исторические заметки о церквах г. Иркутска...» («Иркутские епархиальные ведомости», прибавления. 1872, 22 июля, с. 366—368).

1887 г. — составлена метрика на церковь как на памятник архитектуры протоиереем Г. Можаровым, включающая разнообразные сведения по истории и современному состоянию здания. Работа выполнялась по заданию Императорской Археологической комиссии, проводившей регистрацию памятников зодчества России и составление своеобразного Свода памятников отечественной старины.

1894 г. — проведена фотофиксация памятника П. П. Покрышкиным по заданию Императорской Археологической комиссии. Негативы сохранились в архиве Ленинградского отделения Института археологии АН СССР.

1900 г. — осуществлена вторичная фотофиксация памятника П. П. Покрышкиным по заданию Императорской Археологической комиссии. Негативы сохранились.

1909 г. — вышла в свет «История русского искусства» (т. 2) И. Э. Грабаря, которая впервые ввела памятник в научный оборот.

1911—1912 гг. — проведена фотофиксация памятника Н. Исцеленновым и И. И. Портнягиным по заданию Императорской Археологической комиссии. Негативы сохранились частично.

1913 г. — опубликованы материалы о памятнике в «Известиях Имп. Археологической комиссии».

1915 г. — публикация слюдяных окончин Крестовоздвиженской церкви в книге И. И. Серебренникова «Памятники старинного деревянного зодчества в Иркутской губернии».

1916 г. — вышла в свет книга Г. К. Лукомского, в которой Крестовоздвиженская церковь рассматривается на фоне русского провинциального барочного зодчества.

1918 г. — в храме прекращено богослужение.

1923 г. — передана церковной общине для отправления религиозных обрядов.

1924 г. — публикация Д. А. Болдырева-Казарина, в которой дается характеристика сибирского барокко и определяется место Крестовоздвиженской церкви среди памятников региональной школы.

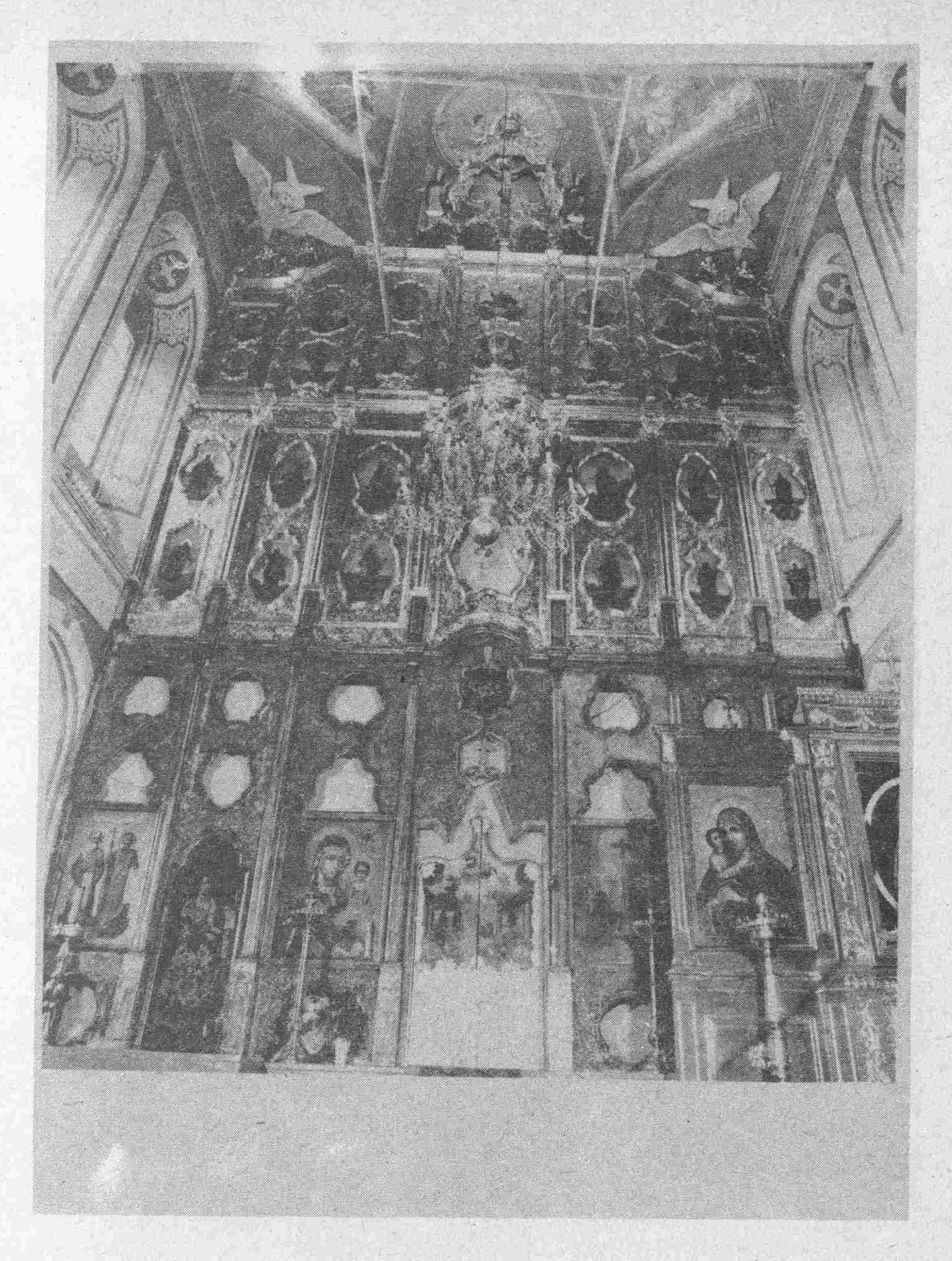
1925 г. — заслушан доклад искусствоведа, историка архитектуры, архитектора и реставратора Г. И. Котова о старинных зданиях Иркутска на очередном заседании комиссии по регистрации памятников архитектуры, действовавшей при Российской

Иркутская Крестовоздвиженская церковь. Общий вид

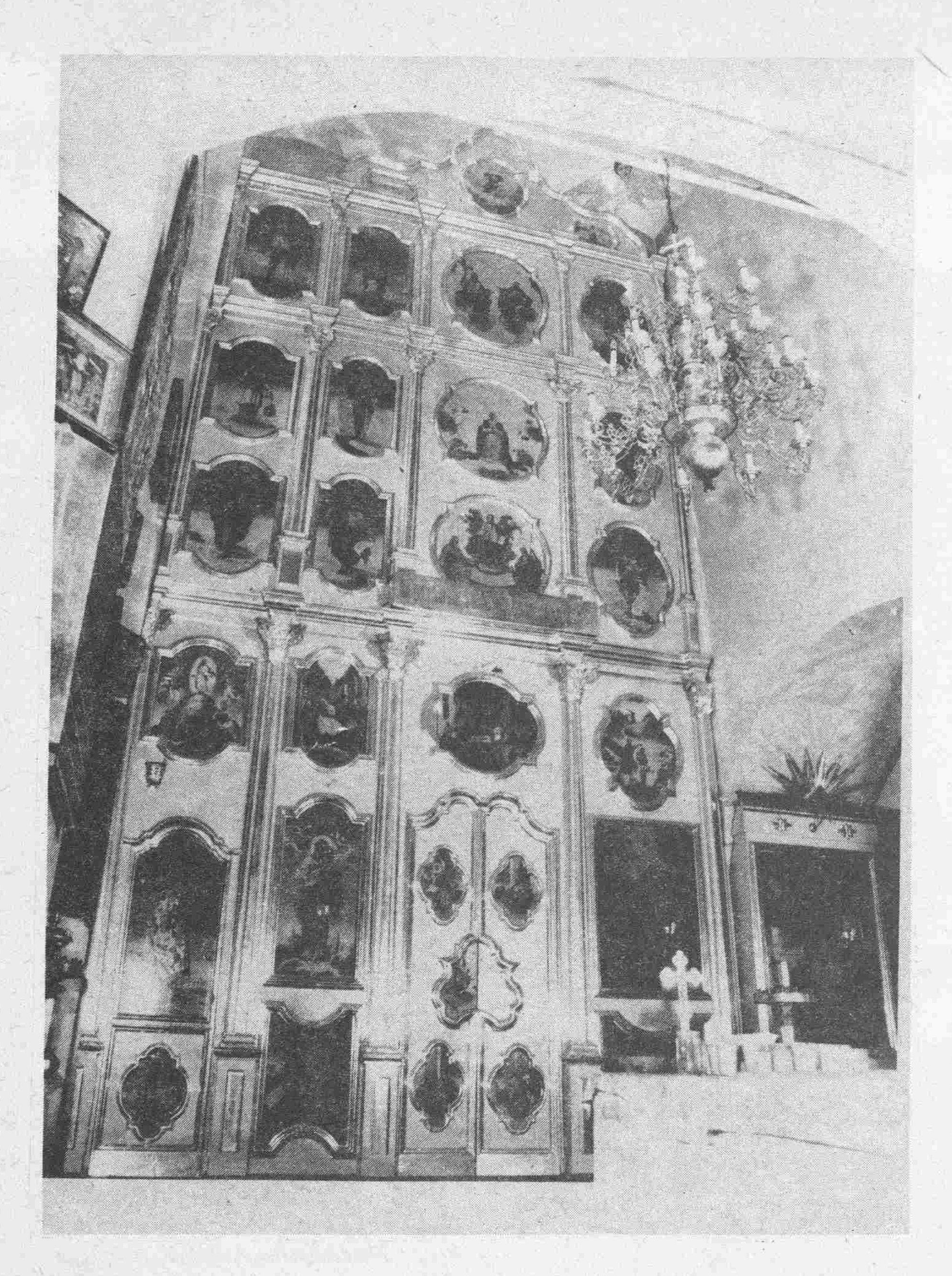




Иркутская Крестовоздвиженская церковь. Южный вид



Крестовоздвиженский иконостас



Успенский иконостас



Троицкий иконостас



Икона «Пророк Захария».
Сер. XVIII в.



Оклад Евангелия
с изображением Троицы. XIX в.



Икона «Никола». XIX в.



Икона «Никола». Рубеж XIX—XX вв.



Икона «Иннокентий Иркутский». XIX в.

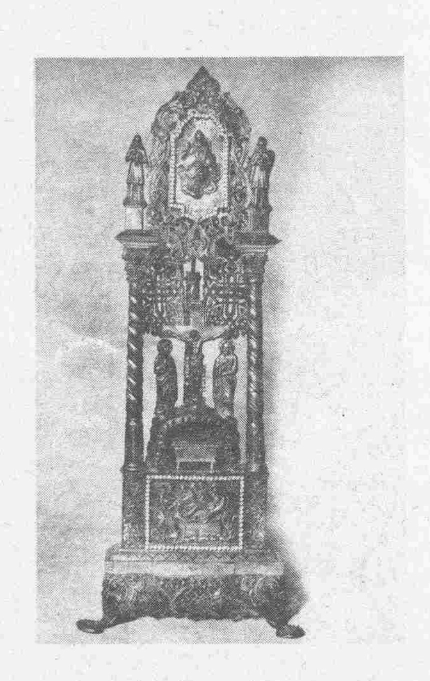


Икона «Никола». XIX в.



Глава . а.
Книга родства Іиса Хрта, сна давдова, сна авраамля.
Авраамъ роди Исаака. Исаакъ же роди Іакова.
Іаковъ же роди Іуду, и братію его. Іуда же роди фареса

Страницы Евангелия



Дарохранительница XIX в.

Академии истории материальной культуры. Крестовоздвиженской церкви дана следующая характеристика: «...каменная с колокольней, оградой и погребения с плитами XVIII и первой половины XIX в. Прекрасно сохранился иконостас единственного в своем роде типа благодаря фону, украшенному мелким орнаментом, напоминающим узоры так называемой золотой кожи. Образа, так же хорошо сохранившиеся, отличаются яркостью и гармоничностью красок, пейзажными фонами, живописно исполнены голубым облачным небом. Обработка киотов между столбами в западной части церкви замечательна по изяществу резьбы в стиле Людовика XVI».

Было признано необходимым поставить памятник в числе других 13 на государственную охрану. При этом принималось во внимание не только здание самой церкви, а весь архитектурный и исторический комплекс.

Позднее (после 1946 г.), несмотря на это решение, некрополь был разрушен; получила повреждения и ограда.

1936 г. — в храме прекращено богослужение. Здание передано Иркутскому областному краеведческому музею для организации в нем антирелигиозного отдела.

По-видимому, тогда же с колокольни были сняты старинные колокола отливки 1753, 1807, 1826 гг.

В эти же годы снимались колокола и с других памятников культового зодчества.

1943 г. — церковь возвращена общине верующих для отправления религиозных обрядов.

1944 г. — составлена учетная карточка на здание как на памятник архитектуры (вопросник И. Э. Грабаря). Указывается в том числе на плохое состояние металлической ограды и на решение заменить ее на кирпичную. (Материалы хранятся в текущем архиве Министерства культуры РСФСР).

1947 г.— приказом Комитета по делам архитектуры при Совете Министров СССР (№ 842-а) Крестовоздвиженская церковь отнесена к памятникам архитектуры общесоюзного значения. (В настоящее время приказ отменен. Готовится новый список памятников общесоюзного значения, в который включена Крестовоздвиженская церковь).

В этом году предполагалось закончить ремонт памятника, начатый в 1946 году, в том числе расчистить поверхности фасада от многократного набела, исказившего каменную резьбу, и восстановить ограду, которая частично разрушилась до основания.

1948 г. — выполнен обмер памятника студентами Московского архитектурного института К. Г. Корниевским, Г. И. Литвиновой, В. А. Нестеровым, П. М. Казаковым по заданию Главного управления охраны памятников архитектуры Комитета по делам архитектуры при СМ СССР.

1954 г. — завершено восстановление ограды в первоначальном виде, закончена реставрация иконостаса и киотов в летнем храме.

1958 г. — опубликована статья Б. И. Оглы «Архитектура города Иркутска XVIII—XIX столетий», в которой рассматривается и Крестовоздвиженская церковь (Труды Новосибирского инж.-строительного института, т. VIII. Вопросы истории архитектуры. Новосибирск, 1958, с. 8). Из дальнейших шести публикаций Б. И. Оглы наиболее подробные сведения о памятнике приведены в книге «Иркутск. О планировке и архитектуре города». Иркутск, 1982, с. 18—21.

1960 г. — постановлением СМ РСФСР (№ 1327 от 30 августа 1960) церковь признана памятником республиканского значения.

1982 г. — сотрудниками Иркутского художественного музея (руководители группы Т. А. Крючкова, С. Н. Фролов) начаты работы по изучению коллекции живописи и декоративно-прикладного искусства Крестовоздвиженской церкви. Из 650 икон, поставленных на учет, 400 признано художественно ценными; большинство отно-

сится к XVIII веку, несколько икон — к XVII веку. Часть из них представляет сибирское барочное письмо. Из произведений прикладного искусства выделяются работы московских серебряников преимущественно XIX века (несколько работ датируется XVIII веком); одна работа принадлежит иркутскому мастеру серебряных дел. Особую ценность представляют иконостасы (Крестовский, Успенский, Троицкий) как образцы резьбы по дереву иркутских мастеров XVIII—XIX вв.

Надежда Михайловна Полунина родилась в 1945 г. в г. Дудинке Красноярского края. В 1966—1971 гг. училась на историческом факультете Иркутского университета; затем работала в областном отделении Общества охраны памятников истории и культуры, в Центральном Совете Общества, в Государственном Историческом музее. Живет в Москве. Публиковалась в сборниках, журналах по истории культуры города, его архитектурному наследию. В 1979 г. в Восточно-Сибирском книжном издательстве.



ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

(Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)*

1722 г. Прибыл в Иркутск воеводою стольник Иван Полуектов**.

И сего года р. Ангара покрылась льдом января 7-го дня, а вскрылась 28 марта.

Учрежден в Иркутске нижний надворный суд. Первым его судьей был дворянин Василий Шишалов. Открыта также ратуша, которая подчинена Тобольскому магистрату. Первыми бургомистрами были: Михайло Сухой и Семен Гранин.

В марте месяце прибыл в Иркутск, на пути в Китай, начальник духовной миссии Иннокентий Кульчицкий, епископ Переславский, со свитою. Преосвященный Иннокентий, ожидая разрешения от китайского правительства на проезд в Пекин, уехал за Байкал и имел пребывание в г. Селенгинске до 15 января 1725 г.

Примечание. Чтобы вполне удовлетворить читателя моей Иркутской Летописи, я намерен объяснить в подробности, отчего Преосвященный Иннокентий, ныне почивающий во Святых, молитвенник за грады, веси и людей Сибири, не уехал в Китай. Я беру эти подробности из официальных источников и, хотя все, относящееся до Св. Иннокентия, возбуждало всегда особый интерес в Иркутске, но я уверен, что в настоящее время у нас эти подробности не всякому известны*. При отравлении Преосвященного Иннокентия Кульчицкого в Пекин нашим Правительствующим Сенатом было писано в китайский трибунал следующее отношение: «Его Величества великих Азиатских стран Императора, Монарха Самовластнейшего, Богдойского и Китайского Хана Верховным Министрам и Государственных дел управителям. Пред некоторыми леты послан из Государства Его Царского Величества, нашего Всемилостивейшего Государя, для отправления там (в Пекине) Божественныя службы нашея благочестивыя Христианския веры Архимандрит Иларион и при нем Священник, диакон и семь человек служителей; а оный Архимандрит и прочие с ним, по прибытии в Пекин, по повелению Его Ханова Величества, со всяким довольством и почтением приняты и содержаны, еже все Его Царское Величество, наш Всемилостивейший Государь, не инако, как за самый знак Его Ханова Величества истинной дружбы принять соизволил. И понеже 1719 года получен здесь из Сената Его Ханова Величества лист, писаный к Сибирскому Губернатору, в котором оный объявляет, что по-

---

* Продолжение. Начало в №№ 4—5, 1989.

** О Полуектове наш рукописный Летописец отзывается, что он был «о казенных сборах радетелен, а к канцелярским делам не весьма заобычен, и нравом вспыльчив». (*Д. и В.*)

* Печатные сведения об этих обстоятельствах появились после составления Летописи.

мянутый Архимандрит Иларион в Пекине умре, и что дается от Его Ханова Величества свобода в государстве Его Величества, вместо оного умершего, из Государства Его Царского величества другого Архимандрита прислать: того ради Его Царское Величество рассудил за потребно повелеть отсюда отправить в Пекин, на место помянутого умершего Архимандрита, для отправления тамо Божественныя службы и всех тамо принадлежащих по закону нашему духовных дел, духовную особу Господина Иннокентия Кульчицкого, и с ним двух иеромонахов и двух диаконов, и несколько служителей, которых при сем роспись приложена. И так мы, учрежденный от Его Царского Величества Правительствующий государственных дел Сенат, по Всемилостивейшему от Его Царского Величества повелению, Ваших Сиятельств и Превосходительств просим дружелюбно, дабы, по вашему представлению, Его Ханово Величество, помянутому Господину Кульчицкому, с обретающимися при нем священники и диаконы и прочими служители, позволил бы не только в Пекине свободно пребывать и службу Божественную в церкви по обыкновению нашему Христианскую отправлять, но и в прочие места государства Его Ханова Величества, где есть люди нашего закона, для посещения оных, невозбранно ездить; а особливо, Его Ханово Величество по имеющейся своей дружбе с Его Царским Величеством, изволил содержать оную, нашего закона церковь и помянутого г. Кульчицкого, со всеми служители и прочими нашея Христианския Веры людьми, в своей протекции и милости; за что взаимно в Государстве Его Царского Величества, что Его Ханову Величеству Благоугодно явиться, ко удовольству Его охотно исполнено будет.

Желая впрочем Вашим Сиятельствам и Превосходительствам всякого благополучия, пребываем Ваших Сиятельств и Превосходительств доброжелательные:

Александр Меншиков.

Адмирал граф Апраксин.

Канцлер граф Головкин.

Граф Иван Мусин-Пушкин.

Граф Андрей Матвеев.

Подканцлер Барон Петр Шафиров.

Князь Дмитрий Кантемир.

Обер-секретарь Иван Позняков.

С.-Петербург, Апреля 21 дня, 1721 года».

Грамоту эту китайские власти прочитали и отослали ее обратно, при письме Монгольского Тушету-Хана Очироя Бату, Селенгинскому начальнику 24 сентября 1722 г. с таким изъяснением, что «по указу Богдоханскому, г. Иннокентия Кульчицкого пропускать в Пекин не велено для того, что от Сибирского Губернатора ни какого об нем письма нет, и знаку печати, каковыя даны Измайлову, не приложено»*.

По этому случаю Преосвященный Иннокентий, во ожидании своей поездки, терпеливо прожил в Селенгинске до 1725 г., а в этом году получил Св. Синода указ, разрешающий ему выехать в Иркутск для ожидания дальнейших последствий, и проживать в Иркутском Вознесенском монастыре. 8 марта того года Преосвященный Иннокентий выехал из Селенгинска в Иркутск.

После кончины Великого Петра Императрица Екатерина I повелела указом 18 июля 1725 г. отправить в Китай для окончательного там решения дел как о духовной миссии, так и о разграничении мест между Россиею и Китаем, чрезвычайного посланника действительного статского советника Савву Лукича Владиславича-Рагузинского, графа Иллирийского. Потом вскоре последовал другой Высочайший указ от 4 марта на имя Преосвященного Иннокентия, предписывавший ему, в случае если не будет препятствия со стороны китайцев, ехать с графом Рагузинским в китайское государство.

Очень интересно было бы подтвердить чем-либо достоверным истину переданного мне старичками, что Святитель Иннокентий, во время приездов из Вознесенского монастыря в Иркутск, имел квартиру в доме, ныне принадлежащем наследникам умершего Ирк. гражданина М. А. Елезова, во

---

* См. «Сибирский Вестник» Спасского.

второй половине дома во дворе; что теперешний тут дом — современный Святителю, и что комната в нем в настоящее время в том же виде, как была при Святителе; тут была не одна икона, полученная в дар от Иннокентия. За совершенную достоверность этого всего я, разумеется, не могу ручаться. Дом этот находится между католическим костелом и домом Травулинского*.

Приехал в Иркутск доктор Шмит для собрания минералов и трав.

Приехал из Тобольска капитан князь Гавриил Солнцев, с помощником капитаном Седаковым, для народной переписи (кажется, первой в Сибири)[1].

1723 г. Вместо ратуши утвержден в Иркутске магистрат; бургомистры остались те же (Михайло Сухой и Семен Гранин), а ратманами выбраны купцы: Прокопий Верховцев, Иван Толмачев и Савва Котов[2].

Начато межевание и топографическое описание Иркутского уезда геодезистом Феодором Лужиным.

Сего года окончен каменным строением в Иркутске Богоявленский собор без наружной и внутренней отделки.

Приезжал из Тобольска лейб-гвардии сержант Петр Черкашин для описи имения воеводы Ракитина[3], для чего он скоро отбыл за Байкал в Верхнеудинск.

Возвратился из Китая с караванною казною купчина Федор Истопников, отправившийся из Иркутска водою по р. Ангаре в Енисейск.

1724 г. Воевода Полуектов переведен в Якутск, а на его место определен Якутский воевода лейб-гвардии капитан Михайло Измайлов. Он был малограмотный и к должности нерачительный начальник[4].

Января 4 р. Ангара покрылась льдом, а 27 марта вскрылась.

Прибыл (в октябре) из России караван с товарами, следующий в Китай, при нем находились: комиссар Степан Третьяков и гвардии сержант Иван Ножнов.

К Ир. Вознесенскому монастырю приписан Спасо-Преображенский монастырь, называемый Посольским, что за Байкалом[5].

Декабря 2-го дана грамота преосвященным Антонием, митрополитом Тобольским, на освящение придела во имя св. пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна, при Владимирской церкви.

1725 г. Прибыли в Иркутск члены камчатской экспедиции, отправленной Петром Великим: капитан Иван Беринг и поручик Мартин Шнамберг.

Января 19 р. Ангара покрылась льдом[6], а 30 марта вскрылась.

Прибыли в Иркутск на службу геодезисты Иван Свистунов, Василий Шатилов, Дмитрий Баскаков и Петр Скобельцин для размежевания земель Иркутского округа и описания местностей.

Учреждается подушный сбор приехавшими из Тобольска капитаном Михайлом Шкандером и поручиком Иваном Ушаковым[7].

Примечание. Какой же был этот по-

---

* На месте дома Елезова ныне существует часовня во имя св. Иннокентия. (*Ред.*)

[1] Эта народная перепись обнародована 1718 года, а в Иркутске действие свое восприяла 1722 г. и окончена по всей империи 1723 г. (*Авт.*)

[2] В рукописном Ирк. Летоп. записано, что Ангара вскрылась 1723 г., марта 30 дня, а покрылась льдом в предыдущем 1722 г., декабря 30 дня. (*Д. и В.*)

[3] В рукописном Летоп. сказано, что Черкашин описывал не Ракитина, а Рупышевых. (*Д. и В.*)

[4] В рукоп. Лет. об Измайлове говорится: «в казенных сборах был не весьма радетелен и к канцелярским делам не обычен, почему в бытность его с 1728 г. правил и волю имел в делах с приписью Петр Татаринов». (*Д. и В.*)

[5] Спасо-Преображенский Посольский монастырь построен по случаю убиения на этом месте российского посла, от царя Алексея Михайловича, отправленного к Монгольскому Цецен-хану, Ерофея Заболоцкого с сыном и семью спутниками казаками, в 1650 году. Здесь сначала была построена часовня, а построение первой деревянной церкви, во имя Преображения Господня, относится к 1660 году. (*Авт.*)

[6] В рукоп. Лет. сказано «29 января», а не 19-го. (*Д. и В.*)

[7] В рукоп. Лет. записано, что Шкандер и Ушаков, приехавши для сбора подушных денег, «учредили в Иркутске полковой подушный двор». (*Д. и В.*)

душный оклад и какие подати были вообще до сего времени? В Сибири до сего времени была подать черная, т. е. тяглая, оброк платился с земли, с двора: денежная с лица или души, различная в разных обстоятельствах, смотря по местонаселению. Взыскивались еще деньги ямские и полоняночные, по гривне и в половину со двора. В Сибири подати взыскивались с души полтина, как сказано в указе 1673 года, которым повелевалось взыскивать подать: «с скудного крестьянина и бобыля по полтине с человека». Иногда оброк с крестьянского двора заменялся повинностию десятинной пашни, т. е. платили десятую часть из собранного хлеба с полей; это было очень выгодно для казны. Оброк с посадских дворов был (кажется) по рублю. 1706 г. велено собрать в Сибирских городах на жалование рекрутам, с одних посадских, по 4 коп со двора в год. Личная повинность до XVIII столетия ограничивалась набором, из казаков или вольницы, для полков, составлявшихся на охрану Сибири. Сверх того были еще погодные выборы из крестьян, требовавшихся в прибавок к казакам в остроги, и в городовые крепости, в случае малолюдности или опасности. Такие на год высылаемые крестьяне известны были под именем «годовальщиков». Рекрутскими наборами (1703 и 1705 гг.) взималось по одному человеку с 20 дворов. Но все это города Иркутска с его округами касалось еще не вполне, точное взимание всех этих податей ограничивалось Сибирью на запад от р. Енисея, а в Иркутске, Якутске и Нерчинске с их округами в начале XVIII века подати вводились только постепенно. Следовательно, должно заключить, что с 1725 г. для Иркутска с округами его подать, после бывшей народной переписи, стала взиматься по рублю с души.

Прибыл из Тобольска в Иркутск прапорщик Семен Бабарыкин с кондукторами, командированный для построения Селенгинской крепости. Тогда же приехал капитан Михайло Миклашевский для взыскания штрафных денег с прописных душ в бывшую народную перепись 1722 г.

1726 г. Января 15 р. Ангара покрылась льдом, а 27 марта вскрылась.

Апреля 5 прибыл в Иркутск чрезвычайный российский посланник в Китай, князь Иллирийский Савва Лукич Владиславич, граф Рагузинский.

Апреля 7 дня преосвященный Иннокентий вследствие Высочайшего указа вторично из Иркутска выехал в г. Селенгинск; а 2 августа того же года прибыл в Селенгинск и граф Рагузинский, которому предписано было не объявлять китайцам о епископском сане преосвященного Иннокентия, а именовать его только «духовною особою», а в листе Сибирского губернатора, посланном в трибунал, преосвященный наименован духовною особою великим господином. Но о пропуске его вторично было отказано. Граф Рагузинский с китайской границы от речки Буры, от 31 августа 1726 года якобы так донес российской иностранной коллегии: «что особа Епископа Иннокентия при Дворе Китайском в великой степени почитается: потому что в листе Сибирского Губернатора в Мунгальский Трибунал Епископ Иннокентий назван Духовною особою великим Господином; а из сего Китайцы взяли подозрение, будто бы он превеликая особа, и министры их агенту Лангу повторили, что Богдо-Хан такую превеликую особу никогда принять не повелит; ибо у них вел. Господин называется «Кутухта», и нам другую такую превеликую особу, каков Иннокентий Кульчицкий, не надобно; и что когда все дела с Китайским Двором окончается, то может быть и паки, Архимандрит и Священники приняты будут, но Епископ никогда».

Примеч. Савва Лукич Владиславич, граф Рагузинский, тайный советник и ордена св. Александра Невского Кавалер, родился в Боснии, занимался торговлею, был тайным агентом послов российских в Константинополе; они доверяли ему разные поручения в Россию, в которую Владиславич ездил с кумачами, хлопчатою бумагой и деревянным маслом. Великий Петр ценил его заслуги и дозволил ему

свободную торговлю по всей России; 1708 г.— пожаловал ему в Москве дом; 1710 г.— произвел в надворные советники. Таким образом, исправляя разные поручения от российского двора (за что получил в награду три села в Малороссии: Топаль, Вишенку и Парафеевку). 1711 г. он был при Императоре в прутском походе и тогда же получил от Рагузинской республики диплом на графское достоинство; 1714 г. получил Царскую подтвердительную грамоту о торговле в России; 1716 г. ездил в Италию, 1720 г. — в Рим за получением подаренной папою Климентом XI Петру Великому мраморной статуи Венеры. Императрица Екатерина I пожаловала его в действительные статские советники 9 марта 1725 г., а 18 июня назначила чрезвычайным посланником и полномочным министром к Пекинскому двору — для восстановления торговли с Китаем, разграничения сопредельных земель, удовлетворения требований о перебежчиках и пресечения взаимных ссор.

12 октября 1725 г. Рагузинский выехал из Петербурга. Свиту его составляли: два секретаря — аббат Хрузаний и Иван Глазунов, лейбгвардии поручик Иван Михайлов и сержант Алексей Пушелев. 5 апреля 1726 г. посольство прибыло в Иркутск, 2 августа — (чрез Байкал) в Селенгинск; 24 к границе на речку Бур. Здесь ожидали его китайские вельможи: граф Лонготу и другие, которые сопровождали посольство в Пекин. Во время пути, во всех городах китайских посольство российское было встречаемо торжественно. 21 октября посольство имело великолепный въезд в Пекин, при громе музыки и барабанном бое. Десять дней посольство пользовалось свободою, потом подворье их было заперто, запечатано и кругом приставлен караул. К этому прибегли китайцы, думая устрашить русских и сделать их уступчивее в переговорах о проведении пограничной черты. 4 ноября Рагузинский имел аудиенцию у богдохана, подавшую надежду на успех переговоров, но хитрость китайских министров, которым поручено было окончить дела с послом российским, и домогательства их во вред России — повели, относительно разграничения обоих государств, к жарким спорам. Видя стойкость нашего дипломата, китайцы стали стращать посольство, что они уморят всех их голодом, если не получат уступки всей земли по самый Байкал; действительно, они начали отпускать для посольства соленую воду, плохое и недостаточное продовольствие. Тогда граф Рагузинский с твердостью сказал китайцам, что смерть 120 человек русских не будет важною потерею для России, но Императрица Российская не оставит за такой поступок отмстить им так, как Россия отомщала шведам, туркам и персиянам. Тогда решено было, чтобы Российское посольство ехало на границу (вероятно, на реч. Бур) и там бы ожидало окончания всех дел. 23 апреля 1727 г. гр. Рагузинский выехал из Пекина, оставив там агента Лоренца Ланга; 20 августа полномочные обеих держав составили окончательный договор, полезный для обеих империй, который тогда же отослан к утверждению в Китай. Рагузинский в ожидании ответа выехал в Селенгинск. Наконец, 13 ноября получен из Пекина и самый договор, утвержденный печатью богдохана, но договор оказался совсем не тот, а переделанный наново: все статьи его заменены другими, по воле и прихотям китайцев. Граф объявил неприятие сего трактата; китайцы опять стали угрожать задержанием российского агента с товарным караваном в Пекине; Рагузинский сказал им в ответ, что от задержания одного каравана Россия не потерпит убытка; Швеция хотела отторгнуть одну провинцию от России, а сама лишилась более ста городов; персияне разграбили российский караван, это стоило им пяти провинций. Тогда китайцы, видя непоколебимость российского посла, представили трактаты в первоначальном виде, на рассмотрение богдохана, а Рагузинский предписал Лангу, чтобы он донес обо всем бывшем самому китайскому императору. Юн-Джин, рассматривая эти обстоятельства и не желая иметь каких-либо неудовольствий с Россиею, утвердил трактат по желанию Российского пос-

ла, с небольшими переменами, не противными выгодам России. Графа Ланготу, министра Тулишина и проч. членов, участвовавших в переговорах, богдохан лишил чинов и имения.

После сего гр. Рагузинский построил Троицкосавскую крепость и в ней деревянную церковь ст. Троицы, оставив в ней свою походную церковь и всю серебряную утварь; он построил также таможенный дом и потом уехал в Россию с отчетами о всех своих действиях, с чертежами Сибири и журналом посольства. Граф Владиславич был уважаем российскими Императорами и Императрицами. Он скончался в С.-Петербурге 17 июня 1738 года.

При отъезде гр. Рагузинского в Сибирь и Китай, ему ассигновано было жалованья 6 000 р. в год и единовременно на экипажи, проезды и прочие расходы выдано мягкою рухлядью на 2 400 рублей. (См. Слов. Бантыш-Каменского и др. источники).

Лето настоящего года было неблаготворно: от сильной засухи плоды огородные, хлеба и травы засыхали, и сверх того кобылка (сибирская саранча) пожирала остальное.

В октябре приехали в Иркутск: свиты графа Рагузинского стольник, комиссар Степан Колычев и при нем секретарь Семен Киреев. Оба они были по топографической части, для разграничения линии на китайской границе.

В декабре прибыл из Тобольска в Иркутск следующий на службу за Байкал Якутский полк солдат, под командою полковника Ивана Бухгольца.

Открыта школа русского и монгольского языков в Иркутском Вознесенском монастыре.

Декабря 13 река Ангара покрылась льдом.

Сего года город Иркутск обнесен крепким палисадом с воротами, который окружал почти всю застроенную в то время местность.

1727 г. Уничтожена в Иркутске земская контора.

Прибыли из Тобольска в Иркутск следующие на службу в Камчатку: Дмитрий Павлуцкий и казачий голова Афанасий Шестаков. Оба они известны в Камчатской истории, как достойно послужившие отечеству, и оба не возвратились на родину, но легли костьми на вечный отдых на хладных берегах северо-востока.

Китайское правительство не согласилось принять и пропустить в Китай духовную российскую миссию, во главе которой стоял епископ Иннокентий, названный в грамоте великим господином. По всем этим обстоятельствам (или вернее сказать — интригам, потому что архимандриту Антонию Платковскому вторично хотелось быть в Пекине миссионером, сверх того у преосвященного Иннокентия с Платковским и Рагузинским не ладилось), Иннокентий Кульчицкий, проживавший в Селенгинске. Высочайшим указом, последовавшим в 15 января сего года, определен в Иркутскую епархию первым местным епископом. Указ этот преосвященный Иннокентий, по прибытии из Селенгинска в Иркутск, на епархию, разослал при своем послании подведомственным церквам. Послание преосвященного Иннокентия следующего содержания*:

«Божиею милостию преосвященный Иннокентий епископ Иркутский и Нерчинский. Во граде Иркутске всем церкви святыя восточныя сыновом послушным, духовным и мирским, благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога и Отца и причастие Св. Духа да будет со всеми вами.

Понеже благословением Божием Ия Императорское Величество, имея сердце свое благодатное в руце Божией, по докладу Святейшего Правительствующего Синода, благоволила мя милостивым своим Императорским указом определить в Иркутскую епархию настоящим епископом, и титуловати себе по той епархии, якоже и прежде бывало, того ради молю прежде всех творите моления за Ея Императорское Величество о здравии и всея Императорской

---

* Текст послания приводим по кн. преосвящ. Модеста «Жизнь св. Иннокентия», так как в «Летописи» очевидны опечатки в послании. (*Ред.*)

фамилии[1], Святейшего Правительствующего Синода, такожде и нашем смирении, титулуя нас Иркутским и Нерчинским. Прочее молим вас и архипастырски увещеваем, да такожде мудрствуйте единодушно, друг друга честию больша творяще, мир и любовь между собою имуще, якоже и апостол святый Павел поучает: елика пречестна, елика прелюбезна, елика прехвальна и прочая, сих поучайтеся, сим последуйте, сия держите, тако да и временная благая и вечная удостоитесь наследовати, всеусердно желаем и благословение посылаем. Аминь. Иннокентий епископ.

Сентября 1 дня 1727 г.»

Примеч. При вступлении преосвященного Иннокентия Кульчицкого в управление Иркутскою епархиею, преосвященный митрополит Тобольский Антоний (Стаховский) сообщил Иннокентия список поступившим в его управление церквам Иркутского дистрикта[2] с уездами, чрез своего секретаря, при следующем отношении:

«Преосвященный архипастырь Иркутский и Нерчинский. Премилостивый мой владыка и архипастырь, преосвященный Антоний митрополит Тобольский и Сибирский, из Тобольска благоизволил ко мне нижеименованному прислать свое владыческое повеление, которое я получил в Иркутске минувшего августа 28 дня, дабы я Преосвященству Вашему доложил о количестве за пробывание на сей Иркутской епархии престол преосвященного Варлаама епископа, определенных к тому престолу в духовную паству градов и пригородков, острогов, сел и монастырей, которое бы и Ваше Преосвященство, по силе Ея Императорского Величества полученного к Вам о восприятии сего престола указу, соизволили при своем заведывании содержать ненарушимо, как я сим моим объявлением Вашему Преосвященству и предлагаю.

Объявление

Бывшему преосвященному Варлааму, епископу Иркутскому и Нерчинскому[3] определено было в команду духовные паствы: грады Иркуцкой и Нерчинской с уезды, Селенгинский и Удинский пригороды с уезды, Иркуцкой Вознесенской, Посольской Преображенской, Нерчинской Успенской мужеские, да при Иркуцку Знаменской девичей[4] монастыри. А коликое число в оных городах и пригородках и в уездах имеется церквей и по чему с тех церквей, также и с выше помянутых монастырей положено в дом архиерейской данных денег на каждой год брать, тому при сем объявлении прилагается табель.

А Селенгинской и Киренской Троицкие монастыри и Якуцкой и Илимской городы с уездами, да Якуцкой же Спасской монастырь, хотя и в Иркуцкой провинции обретаются, обаче благословных ради вин в команду сея духовныя паствы, как оному бывшему преосвященному Варлааму епископу определены не были, так и ныне попрежнему в ведомстве Тобольской епархии быть оставлены.

Прочее при предложении сем, мирного, благополучного же и долгоденственного Преосвященству Вашему в наследствии сего Иркуцкого престола пребывания желает сего объявления предлагатель, дому преосвященного Антония митрополита Тобольского и Сибирского приказной надзиратель Никифор Слопцов.

1727 г., сентября 1 дня».

«Табель города Иркуцка, Иркуцкого дистрикту и по заморью коликое число по окладным книгам с нижнеписанных церквей в архиерейскую домовую казну данных и прочих указанных денег положено брать на каждый год.

В заказе[5] Иркуцкого протопопа
Петра Григорьева:
Соборные две: Спасская и

[1] В летописи «Ея Императорского Величества высокой фамилии». (*Ред.*)

[2] Т. е. округа.

[3] Епископ Варлаам был первый и последний викарий Иркутский; после него учреждена самостоятельная кафедра, на которую и назначен св. Иннокентий. (*Ред.*)

[4] Сего времени при св. Иннокентии управляла Знаменским девичьим монастырем настоятельница Игуменья Акилина. (*Авт.*)

[5] Т. е. благочинии (*Ред.*).

Богоявленская	8 р. 85 к.
Иркутской Вознесенский монастырь	2 р. 85 к.
Иркутской Знаменской девичей монастырь	2 р. 60 к.
Пресвятыя Богородицы Одигитрия	2 р. 60 к.
Прокопия и Иоанна Устюжских	2 р. 60 к.
Троицкая — Духовская	1 р. 45 к.
Богородская — Владимирская	1 р. 30 к.
Троицко — Сергиева	1 р. 30 к.
Итого	23 р. 55 к.

В Иркутском дистрикте:

В Индинску — Троицкая	2 р. 75 к.
В Балаганску — Спасская	2 р. 60 к.
В Бельском — Сретенская	2 р. 60 к.
В Кудинску — Троицкая	2 р. 75 к.
В Оецкой — Афанасия и Кирилла	2 р. 60 к.
В Бадайской — Николаевская	2 р. 60 к.
В Олонке — Благовещенская	1 р. 30 к.
В Усолье — Нерукотворного образа	2 р. 45 к.
В Урике — Нерукотворного образа	2 р. 10 к.
В Китое — Рождественская	1 р. 75 к.
Вверх Иркута — Введенская	1 р. 85 к.
В Верхоленску — Воскресенская	3 р. 75 к.
В Бирюльском — Покровская	3 р. 70 к.
В Манзурском — Введенская	2 р. 10 к.
В Анге — Ильинская	2 р. 10 к.
Итого	37 р. 00 к.

За морем:

Посольской Преображенский монастырь	3 р. 30 к.
В Баргузинском — Преображенская	2 р. 75 к.
В Селенгинску — Покровская	2 р. 85 к.
В Селенгинску — Спасская	3 р. 90 к.
В Удинску — Спасская	4 р. 10 к.
В Удинску — Володимирская	1 р. 17 к.
В Ильинском — Богоявленская	3 р. 25 к.
В Кабанском — Рождественская	2 р. 75 к.
В Итанцынском — Спасская	1 р. 25 к.
На Хилке — Владимирская	1 р. 25 к.
В Колесниковском — Казанская	1 р. 17 к.
В Тресковском — Михаила-Архангела	2 р. 60 к.
В Кударинску — Богородская	1 р. 18 к.
На Чикое — Петропавловская	1 р. 30 к.
Итого	32 р. 82 к.

Нерчинского заказу:

В городе соборные:	
Троицкая и Воскресенская	4 р. 50 к.
В Городищенском — Введение Богородицы	50 к.
В Ундинской слободе — Николаевская	1 р. 00 к.
В Урулгинском — Николаевская	2 р. 00 к.
В Читинском — Архангельская	2 р. 75 к.
В Аргунском остроге — Вознесенская	2 р. 70 к.
В Никольском остроге — Сретенская	1 р. 20 к.
Итого	14 р. 65 к.

Всего окладных в Иркутске и Нерчинске с уезды:

(Эти деньги распределены так:)

В домовую архиерейскую казну	63 р. 40 к.
В келию архиерейскую праздничных	19 р. 01 к.
Певчим, столовых	17 р. 16 к.
На приказ	4 р. 40 к.
Милостынных	3 р. 60 к.
Итого	108 р. 02 к.[1]

Дому преосвященного Антония митрополита Тобольского и Сибирского приказной надзиратель Никифор Слопцов».

1728 г. Магистрат в Иркутске закрыт, а вместо него учреждена ратуша. Бургомистром выбран Трифон Бречалов, а ратуше повелено состоять под ведением Иркутской провинциальной канцелярии.

В Китай отправился караван с товарами под присмотром комиссара Дмитрия Молакова и лейб-гвардии сержанта Ивана Ножнова. С этим же караваном поехал в Китай, вместо епископа Иннокентия, ар-

[1] Вероятно, в последнем столбце опечатка, потому что общий итог 108 р. 2 к. более суммы последних пяти чисел на 50 к. (*Ред.*)

химандрит Антоний Платковский. Свиту его составляли: священник Иоанн Филимонов, иеродиакон Иоасаф Ивановский, из Иркутской монгольской школы три ученика: Герасим Шульгин, Иларион Россохин и Михайло Пономарев. Жалование было назначено: архимандриту 550 руб., священнику, иеродиакону и ученикам каждому по 130 р. в год. На церковные расходы каждогодно отпускалось по 50 р. Платковский уехал из Забайкалья за границу следующего 1729 года. По этому случаю и по окончании переговоров Рагузинского, по повелению самого богдохана, в 5-й пункт трактата включили следующее:

«Коен (т. е. дом), который ныне для россиян в Пекине обретается, будет для их и впредь приезжающих. Оные сами будут жить в сем доме. А что российский посол, Иллирийский граф Савва Владиславич представлял о строении церкви, то оная и сделана в сем доме усердием вельмож китайских, которые имеют надсмотрение в делах российских. В сем доме будет жить один лама (священник), ныне в Пекине обретающийся, и прибавятся другие три ламы (священника), которые прибудут, как решено. Когда прибудут, дастся им корм, как дается сему, который прежде приехал, и при той же церкви приставлены будут. Россиянам не будет запрещено молиться и почитать своего Бога по своему закону. Кроме того четыре мальчика учеников и два побольшего возраста, которые по-русски и по-латыни знают, которых посол российский, Иллирийский граф Савва Владиславич хощет оставити в Пекине для обучения языков, будут жить также в сем доме и корм дастся им из царского инживения; а когда выучатся, по своей воле да возмутся назад».

В июле месяце сего года возвратился из Забайкалья в Иркутск граф Рагузинский. Пробыв здесь недолго, он отправился в Россию на судах по р. Ангаре; но лишь только отвалили от берега, поднялась вдруг жестокая буря с сильными порывами ветра, с дождем и градом. Суда Рагузинского разбросало по реке, чуть не залило водой, так что он едва мог кое-как пристать к берегу у Иркутскаго Вознесенского монастыря; тут он мог усердно помилиться Триединому, а может быть, и примирится со Святителем первым епископом Иркутским, потому что Рагузинский был в Иннокентием во вражде, о чем и ныне еще рассказывается в Иркутске. Дождь во время этой бури был так велик, что по улицам Иркутска было воды в колено.

В декабре прибыл в Иркутск поручик бомбардирской роты Абрам Петров, командированный для построения Селенгинской крепости. Он был родом с берегов Африки (арап), куплен в Константинополе и прислан в дар Петру Великому, который был его крестным отцом. Петр отправил его обучаться в Париж, где он самовольно вступил в французскую службу, но вскоре возвращен был в Россию и определен в бомбардирскую роту. По кончине Петра он подвергся гневу Меншикова, вследствие чего и был отправлен на службу в Сибирь. Отсюда уехал он без спроса в Петербург, но на пути был задержан и водворен в Томск. Императрица Елизавета Петровна возвратила свободу любимцу и крестнику своего родителя. В 1743 году был он обер-комендантом Ревеля, 1756 — генерал-инженером, 1766 года награжден орденом св. Александра Невского и скончался в 1782 году, 92-х лет от рождения, генерал-инженером.

Питейный сбор в Иркутске и уезде велено отдать на откуп местному купечеству, с платежем в казну за право курения и продажи по 4 000 руб. в год, с тем, чтобы сбор этот состоял под ведением Иркутской ратуши.

Сего года городская крепость выстроена вновь, с башнями.

Р. Ангара вскрылась 11 марта, а покрылась 21 декабря.

Примеч. Когда преосвященный Иннокентий, первый епископ Иркутский, вступил в управление Иркутскою епархиею, рассмотрев приходно-расходные книги Вознесенского монастыря, он нашел состоящий долг на графе Рагузинском не очищенным уплатою и надлежащею распиской, почему, вероятно, был послан в графу счет или

письмо с требованием платежа; на это Рагузинский преосвященному Иннокентию написал следующее письмо, которое сообщаем как документ исторический, сохранившийся от того времени:

«Преосвященный Епископ Иркутский и Нерчинский Иннокентий Кульчицкой, государь мой премилостивейший и благодетель всенадежный!

Понеже я известился, что Архимандрит Антоний Платковский совершил счеты свои с тамошними монастыри, которой под присутствием Вашего Преосвященства и готовится к путешествию по указу на лето в Пекин, ежели китайцы по своему обыкновению и шатливости слово свое не пременят. Так же известно мне учинено от персон достоверно, и что Иркутские жители и некоторые мои благодетели поносят меня несправедливыми словами, будто я оного Архимандрита отпущаю в Китай и за ево стою за некоторые корысти или взятки, что существенно, на что призываю свидетеля и самого Бога и мою чистую совесть, и предаю себя в вечное анафема — ежели я оного Архимандрита и за какой мой интерес отпускаю, и как родился ничего за бездельные взятки не делал, ибо честная моя природа, человеческая опасность, и по милости Всевышнего Бога домашнее достоинство никогда меня к таким непорядкам не допускало, о чем покорнейше прошу: прикажите спросить ево Архимандрита под клятвою.

В мою же бытность в Иркутску, на моем путешествии в Пекин, а нечто и по возвращении в Селенгинск брано в мой дом чрез писаря моего Константина Иванова из тамошнего монастыря хлебных и прочих домашних припасов по цене слишком за шесдесят рублей, да пять монастырских лошадей, и когда он Архимандрит был во оном монастыре, взаимно брал из дома моего специальных питей, кофею, сахару и прочаго, да за лошадей взял лошадьми, которые были по ту сторону моря (Байкала) сущие мои, разве лучше монастырских.

А сей осени, когда он Архимандрит был здесь в Селенгинску, прежде возвращения в Иркутск, то вышеписанным припасам, лошадям и прочему учинен чрез моего писаря Константина с ним Архимандритом совершенный счет, и что ему товарами не додано, то готовыми деньгами заплачено и за ево рукою при подлинном квитовании на счете расписка получена, которая обретается за существованною рукою у вышеописанного моего писаря, и оную, Богу извольшу, не моем путешествии Преосвященству вашему покажу для того, что я слышу, что в монастырских расходных книгах вышеописанные хлебные припасы и прочее на меня написано, и между братьею о том на меня не без поречения, чего ради я к нему Архимандриту о том не пишу, ибо в таком случае письма моего недостоин есть; понеже я от моих прародителей делал монастыри и святые обители помогал, а никогда с них взяток не требовал, и притеснения не чинил.

Того ради, ваше Пастырское Преосвященство, отеческой предосторожности прошу, что в расходных книгах монастырских на имя мое написано по цене от шестидесяти до семидесяти рублев, ибо я больше не брал, повели оные деньги на нем Архимандрите в монастырь доправить и имя мое из монастырских расходных книг вывесть, дабы в том между братьею не было мне поречения и монастырю обиды, когда я, действительно и несумнительно Архимандриту все полученное заплатил, на что имею, как выше объявлял, за ево рукою квитанцию, с которой готов, ежели Ваше Преосвященство повелит, послать список.

Еще слышу поречение в хлебных припасах и прочем на секретаря моего посольства Ивана Глазунова, что в монастырских книгах на него написано по цене от шести до семи рублев долгу, о чем я ево Глазунова спрашивал, то он мне ответствовал, что правда, что он по любви на шесть или семь рублев съестных припасов получил в подарок, за что он ево Архимандрита дарил китайским атласом самой доброй руки, который и вполторы вышеописанной цены стоит, и просит Преосвященство Ваше, дабы имя его из монастырских книг вывести и на Архимандрита та-

кую сумму доправить.

Я, наконец, прошу, ежели Вашему Преосвященству не трудно, на сие мое покорное письмо повелеть милостивой респонт учинить и действительно меня о очищении моего имени и расплате с ним Архимандритом уведомить, дабы имя мое в таких боготелах туне не поносить, в надежде, что от части и Вашему Преосвященству честные мои поступки суть не безизвестны.

При сем рекомендуя себя Вашим Архипастырским святым молитвам, желая Вашего Преосвященства благословения, целуя святые Ваши руце, с глубочайшим респектом пребываю.

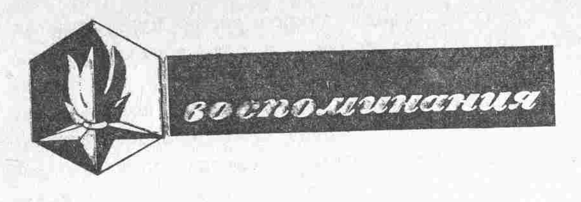
Вашего Преосвященства, моего Милостивого Государя и надежного благодетеля, всякого добра желательный верный и покорный слуга Граф Сава Владиславич».

Из села Селенгинска 7 февраля 1728 года».

«Квитанция

1728 года, марта дня, приняли у Архимандрита Антония по письму от графского сиятельства Савы Владиславича денег за запас, который запас он Архимандрит и в прошлом 726 году, июля 8, да 18 чисел из Вознесенского монастыря отдал его сиятельству, а именно овса двадцать пуд, цена за овес по две гривны за пуд, и того 4 р., тридцать пуд пшеницы, цена за пуд по осьми алтын и две деньги, и того семь рублей, с полтиною; сухарей сто семьдесят шесть пуд, цена за пуд по две гривны, и того тридцать пять рублев, шесть алтын, четыре деньги, солоду ячного сорок пуд, цена за пуд по две гривны, и того восемь рублев; десять мешков холщовых, цена по гривне мешок, и того рубль; масла коровья три пуда три чети, цена семь рублев, шестнадцать алтын, четыре деньги; крупы ячной шесть пуд с четью, цена за пуд по полуполтине, и того рубль осмнадцать алтын четыре деньги; всего на шедесят на четыре рубли, на двадцать на пять алтын, на две деньги; да он же Архимандрит отдавал Ивану Ивановичу Глазунову запасу пшеницы семь пуд, цена за пуд по полуполтине, и того рубль двадцать пять алтын; три пуда солоду, цена за пуд по пяти алтын, и того пятнадцать алтын; крупы ячной три пуда, цена за пуд по полуполтине, и того двадцать пять алтын; семени конопляного два пуда, цена рубль; солоду пшеничного десять пуд двадцать фунтов, цена за пуд по десяти алтын, и того три рубля пять алтын; шесть мешков холщовых, цена двадцать алтын; всего вышло к секлетарю на семь рублев на двадцать на три алтына на две деньги, и всего вышеописанного он Архимандрит отдал на обе персоны на семдесят на два рубли на пятнадцать алтын на две деньги, и таковые деньги за вышеписанный запас, по означенному письму, у него Архимандрита семьдесят два рубля пятнадцать алтын две деньги в Иркутском архиерейском приказе принял в казну Вознесенского монастыря казначей монах Вавила, его велением казенной пищик Афанасий Куликалов расписался».

(Продолжение следует).



Николай БУРЛЯЕВ

«Я ГРУДЬЮ ШЕЛ ВПЕРЕД, Я ЖЕРТВОВАЛ СОБОЙ...»

К 50-летию со дня рождения Ю. И. Селезнева

Личность духовная осознает свою причастность вечной жизни мира и потому даже перед лицом смерти своего личного «я» принимает жизнь, приветствует и благословляет.

Ю. И. Селезнев

Вновь перелистываю книгу «Достоевский», основной памятник подвижнической жизни Юрия Ивановича Селезнева, вчитываюсь в цитаты, выбранные автором из творений Ф. М. Достоевского, в качестве эпиграфов к главам книги:

«Клянусь тебе, что я не потеряю надежду и сохраню дух мой и сердце в чистоте. Я перерождусь к лучшему».

«Не потеряйте жизни, берегите душу, верьте в правду, но ищите ее пристально всю жизнь, не то ужасно легко сбиться».

«В несчастии яснеет истина».

«Всякий, кто захотел истины, уже страшно силен».

«От народа спасение Руси... Берегите же народ и оберегайте сердце его».

«Лучшие люди должны объединяться».

Думаю, это смело можно назвать заповедями жизни Ю. И. Селезнева. Выбор цитат автором всегда не случаен: избирается то, что созвучно душе. Безусловно, программны для Юрия Ивановича и слова Н. В. Гоголя, приведенные им в статье «Созидающая память»: *«Другие дела наступают для поэзии... как во время младенчества служила она тому, чтобы вызывать на битву народы... так придется ей теперь вызывать на другую, высшую битву человека — на битву уже не за временную нашу свободу, права и привилегии наши, но за душу...»*

Именно за душу человека, за ее чистоту и возвышение боролся Ю. И. Селезнев. *«Поэт-воин, боец, трагически идущий навстречу катастрофам в самое пекло хаоса, ибо только собственным участием в борьбе можно определить, хотя бы и ценой собственной гибели, исход этой борьбы»,*— эти слова Юрия Ивановича о Тютчеве целиком относятся и к самому их автору.

Да, только собственным участием в борьбе можно определить ей исход. Это жизненное кредо Ю. И. Селезнева, эта магистральная мысль его бытия прозвучала в художественном фильме «Лермонтов», когда Юрия Ивановича уже не было среди нас. Они прозвучали в устах Михаила Юрьевича Лермонтова, героя последней, невоплотившейся книги Ю. И. Селезнева. Не только рукописи, но и мысли человеческие не горят, не исчезают, но, как эстафета, передаются окружающим, укрепляя их

сердца. Не написана книга Юрия Ивановича о Лермонтове, но многие положения предполагаемой книги, мысли, гипотезы, утверждения вошли в фильм о великом русском поэте. Я благодарю судьбу за то, что она подарила мне три встречи и десяток телефонных диалогов с Юрием Ивановичем до того, как оборвалась его жизнь, до того, как началась жизнь фильма «Лермонтов».

I

7 апреля 1984 года на сцене московского Дома журналистов я рассказывал о четырехлетней работе над лермонтовской темой, о желании снять фильм о великом поэте. После вечера ко мне подошел человек и сказал, что есть такой Ю. И. Селезнев, замечательный литературный критик и писатель, автор книги о Достоевском, создающий сейчас для ЖЗЛ книгу о Лермонтове и что нам просто необходимо с ним повстречаться. Человек этот был приятелем Юрия Ивановича. Он при мне позвонил Ю. И. Селезневу и так же темпераментно, как только что говорил мне о Юрии Ивановиче, стал говорить ему обо мне и заключил тем, что мы непременно должны увидеться. Так состоялось наше заочное знакомство. В этот же вечер наш настойчивый «сводник» вручил мне книгу Юрия Ивановича «Достоевский».

Книга меня ошеломила, открыла новое мощное явление в нашей литературе, талантливого писателя, мыслителя, гражданина. Духовная устремленность к идеалу, позитивность исканий, речь без иносказаний, нравственная чистота, бесстрашное «упоение боем» — все было прекрасно в этой удивительной книге, а значит, и в ее авторе. Появилось неодолимое желание увидеть этого человека: душа потянулась к душе. Следом я «проглотил» следующую книгу Ю. И. Селезнева «Мысль чувствующая и живая» и открыл нового литературного критика — Юрия Ивановича Селезнева.

Через несколько дней, в пасхальную ночь, мы с приятелем Юрия Ивановича подъехали к его дому. Хозяин, с нетерпением ожидая нас, стоял у окна, махал нам рукой. Мы еще выходили из лифта, а Юрий Иванович, не дожидаясь нашего звонка, широко распахнул дверь, встречая нас на пороге, презрение к чопорному столичному этикету, нежелание соблюдать регламент, но — «жизнь по правде, по устремлению души», любовь к ближнему — вот что заключалось в этом порыве. Внутренняя мощь и душевная деликатность — на пороге нас встречал улыбающийся Юрий Иванович Селезнев. До этого мгновения не раз мысленно спрашивал себя: каков он, Селезнев?.. Как часто ожидаемое не совпадает с действительным. Но тут — совпало: книги и их автор. И не мудрено: ведь слово и дело было едино для него. Итак, вот он: красивый, голубоглазый, приветливый, сильный, статный витязь из народной былины. Долгое, крепкое рукопожатие... «Именно таким я вас и представлял...» — не удержался я от признания.

Сближение произошло мгновенно. Я полностью впустил Юрия Ивановича в свое сердце, хочется думать, что это было взаимно. Было видно, как доволен наш «сводник». Он тактично отошел на второй план, не прерывал наш диалог, переводил взгляд с одного на другого. Мы говорили о многом, но доминировали две темы: Достоевский и Лермонтов. Юрий Иванович внимательно выслушал мой рассказ о работе над сценарием фильма о Лермонтове, о четырехлетних похождениях по кругам киноинстанций, о битвах за право постановки фильма о великом поэте.

В эту пасхальную ночь зашел разговор о Христе и христианстве, о жертве человека во имя всеобщей гармонии, о подвиге. Помню, Юрий Иванович высказал тогда интересную мысль:

— Как теперь облучают раковую опухоль, так Христос явился светлым светильным лучом в самое пекло корысти, исчадие ада...

Кто-то задал вопрос: «Почему фарисеи не вняли спасительным речам?» Юрий Иванович рванулся из-за стола в другую комнату и через мгновение вернулся с книгой в руках: быстро нашел интересующее его в «Евангелие от Иоанна» место, прочел:

— Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец диавол: и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца отначала и не устоял в истине, ибо нет в нем

истины. Когда говорит он ложь, говорит свое,
ибо он лжец и отец лжи... Вы потому не слу-
шаете, что вы не от Бога. (Ев. от Иоанна.
Гл. 8, 43).

(Позднее эта мысль Юрия Ивановича о
«светлом луче, направленном в самое исчадие
корысти», прозвучала в фильме «Лермонтов»).

Уединившись с хозяином в его кабинете, я
задал ему вопрос: «В какой стадии ваша ра-
бота над Лермонтовым?»

— Мне осталось прочитать совсем немного,
около сорока авторов, и я начну писать. Ви-
димо, это будет через пару месяцев. Я дол-
жен знать все, вплоть до того, какие на мун-
дире Лермонтова были пуговицы во время
встречи с Белинским... Вы читали эту книгу?

Юрий Иванович протянул мне редкую кни-
гу Нарцова, изданную в 1914 году, исследую-
щую род Мартынова, убийцы Лермонтова. Он
обратил мое внимание на герб рода Мартыно-
вых, на котором красовались масонские сим-
волы: три шестиконечные звезды и карающий
меч в руке, протянутой из облака.

— Любопытно,— сказал Юрий Иванович,—
этот герб был обнародован единственный раз
в 1914 году и до сего дня ни разу не печа-
тался в наших лермонтоведческих книгах...

В этот вечер я оставил Юрию Ивановичу
на прочтение мой сценарий о Лермонтове.

2

Вскоре состоялась наша вторая, пожалуй,
самая важная, встреча с Юрием Ивановичем.
Он говорил о своем впечатлении от сценария,
вообвысказывал свои мысли о Лермонтове вооб-
ще, открывал новое для меня, неназойливо на-
правлял. Теперь многие отмечают, что Юрий
Иванович торопился жить, не позволял себе
болтать о несущественном, но только о самом
главном. Так было и в этот раз. Но вместе с
этой эмоциональной устремленностью к целям
я навсегда запомню ту форму, в которой
Юрий Иванович говорил со мной, сидящим
перед ним автором: ни тени менторства, ве-
ликодушный такт, доброжелательство, товари-
щество. Он говорил, я конспектировал заин-
тересовывающие меня мысли. Теперь глубоко
сожалею, что записывал не все. Не исклю-
чено, что Юрий Иванович в тот день щедро
делился со мной материалами, собранными
для своей книги. Он говорил о том, как важно
снять о Лермонтове достойный фильм. Дома
я расшифровал свой конспект. Привожу за-
пись без литературной обработки, в том виде,
в каком она легла в тетрадь.

1. Не делайте Лермонтова злым...

2. Должна отчетливее выявиться основная
идея фильма: осознанное самопожертвование
российского гения в борьбе с силами зла.

3. Лермонтов мыслит всей Россией, Все-
ленной. В каждой фразе Лермонтова звучит
весь мир:

Я вдруг нашел себя, в себе одном
Нашел спасенье целому народу...

Говоря о себе, Лермонтов говорит о целом
мире.

4. «Личность начинается не с самоутверж-
дения, но с самоотдачи». Слово и поступок —
не разделимы. На деле докажи то, что дерз-
нул утверждать.

Миссия, подтвержденная судьбой. Пушкин
не стал бы Пушкиным, не прими мученической
смерти за свои убеждения. С его гибелью сот-
воренное им вспыхнуло, осветилось новым све-
том. Таков закон: подтверди жизнью... Его не
за жену убили: за знание первопричин зла и
способность противостояния злу... Какое зна-
чение имеет моя жизнь на земле, если она не
послужила народу, человечеству, созиданию
гармонии, по образу и подобию высшей гар-
монии, отзвук которой люди слышат в своих
душах. Факел истины не погаснет. Пушкин
нес его за всех нас на Руси и мы не дали его
обронить... Собьют с ног меня — поднимется в
России другой человек...

5. Фильм должен нестись к своему идей-
ному исходу, финалу: от рождения Лермонто-
ва к... Вечности!

6. Лермонтов не должен бояться смерти,
он презирает ее. Приближающаяся гибель не
страшна ему (и нам, зрителям), он — выше
смерти.

Кто близ небес, тот не сражен земным.

Он смеется в глаза смерти. (Очевидцы от-
мечали, что он с улыбкой стоял под дулом
пистолета). Подвиг жизни Лермонтова: само-
пожертвование во имя Добра, Свободы.
«Правды в сердце человека». Души. Всеоб-

щей Гармонии.

7. На мою реплику: «К Вам нужно приставлять охрану»,— Юрий Иванович печально улыбнулся и сказал:

— Нужно действовать... Ведь кто-то же должен. Разве мы не у себя дома живем? Не в России?.. Неужто станем бояться? Надо спокойно делать дело своей совести. Говорить народу правду. Люди услышат и подумают: «Значит, можно ее говорить и жить так, как он. Ведь он-то смог... А чем я хуже? Скажу и я!..»

8. Нельзя впадать в назидательность. Когда Лермонтов «цитирует себя», он должен это делать с иронией: мол, «когда-то я писал...».

9. Монго-Столыпин, родственник Лермонтова, лентяй, светский лев: «Печорин, возлежащий на коврах...» Он бессознательно или сознательно (?) дважды приводил Лермонтова под пулю: на дуэли с де Барантом и с Мартыновым. Согласно правилам чести, «честно» привел М. Ю. к роковому барьеру. После убийства Лермонтова всю жизнь хранил тайну о его смерти. Он был милостиво выпущен в отставку и столь же милостиво отпущен за границу...

«Друзья» довели Лермонтова до дуэли. «Друзья» стреляли в упор.

Все здесь тайна. И убийство Л. нужно оставить загадкой...

10. Известен факт, что горцы на Кавказе не тронули Лермонтова; они показывали на него в бою своим товарищам, чтобы те не стреляли в поэта...

11. Ключ к образу Мартынова в кличке «Мартышка» (подражатель, кривляка, передразнивающий Лермонтова, писавший графоманские стихи и прозу на темы, которых касался в своем творчестве Лермонтов. Лермонтов — Мартынов (Моцарт и Сальери, Бог и дьявол, истина и ложь. «Я» — вселенское, ответственность за грехи всего мира, вселенская совесть и — «я» — мелкое, бесовское...

Мартынов убивает истину и в себе и в другом человеке.

12. Юрий Иванович аргументированно доказал, что стихи «Прощай, немытая Россия» написаны не Лермонтовым. Но, несмотря на отсутствие автографа, их упорно стараются приписывать Лермонтову. (Знал бы Юрий Иванович, что через три года после его ухода из жизни московские кинокритики, роем налетевшие на едва родившийся фильм и задолго до выхода на экран вонзившие в него 22 ядовитых жала, станут упрекать фильм в отсутствии «немытой России» и издеваться над словами героев о любви к Отечеству, называя их «пасхальными» и «выспренними»).

13. Юрий Иванович высказал интересную гипотезу по поводу компании, вертевшейся вокруг Лермонтова последние два года его жизни, именуемой лермонтоведением «Кружком шестнадцати». Он говорил, что как раз разрабатывает эту тему, исследует нити, тянущиеся в иезуитский орден... Все «кружковцы» — юные отпрыски семейств, приближенных к императору. Что общего могло быть у Лермонтова с этой «золотой молодежью»?

В 1840 году во время высылки Лермонтова на Кавказ члены «Кружка шестнадцати» покинули Петербург одновременно с поэтом.

В 1841 году на время отпуска М. О. «шестнадцать» съехались вслед за поэтом в Петербург и окружали его в столице.

Когда Лермонтова вновь выслали на Кавказ и он оказался в Пятигорске, многие «кружковцы» снова оказались подле Лермонтова. Несколько человек из их числа присутствовали при убийстве Лермонтова. Потом подтасовывали общность показаний и все, как один, всю жизнь сохраняли тайну о подлинных событиях у подножия Машука. Что же это за «кружок»? Может быть, своеобразная организация по ликвидации М. Ю. Лермонтова?..

14. «Не вернусь я с Кавказа»... Лермонтов повторил это раз десять, разным людям. Он знал, что не вернется...

15. «Если не можешь купить — убей!» — клич темных сил, клеветников из шайки Нессельроде. (Нессельроде и К⁰ — подле Пушкина, потом они же — подле Лермонтова).

3

Третья и последняя встреча была кратковременной. Солнечным майским днем я заехал к Юрию Ивановичу выслушать его мнение о моей повести и стихах. Хозяин был, как обычно, красив и бодр, казалось, наши контакты

теперь будут постоянны и долговременны, ничто не предвещало скорого прощания навсегда. Юрий Иванович говорил, что нужно освобождаться от концентрации на личных поэтических переживаниях, стремиться к осознанию себя как частице всего народа. Снова говорил о том, что нужно жизнью своей подтверждать истинность написанного тобой. От этой встречи осталась дарственная надпись Юрия Ивановича на его книге «Мысль чувствующая и живая». Позволю себе привести эти дорогие для меня слова: «Николаю Бурляеву — с почтением к таланту, и глубокой симпатией к человеку — на соратничество. Сердечно Юрий Селезнев. 22.V.84».

Съемки картины начались через несколько месяцев после смерти Юрия Ивановича, но я ощущал его постоянное, незримое присутствие. Многие мысли Ю. С. Селезнева воплотились в фильме «Лермонтов». Сегодня я с радостью открываю то, что до сих пор было известно мне одному — фильм «Лермонтов» посвящается памяти Юрия Ивановича Селезнева. Несмотря на то, что Юрий Иванович встретил свой смертный час в четырех стенах чужого жилья, в моем сознании он пал на поле боя, ибо каждый миг своего духовного бытия был очередным бородино его воительницы — мысли. Юрий Иванович Селезнев был человеком просветленной души. Его бесстрашие рождено знанием простой истины: добрые, духовные дела человека не подлежат тлению. Они бессмертны.



Надежда **ТЕНДИТНИК**

ТАМ ЛИ СПАСЕНЬЕ, ГДЕ ЧАЕМ?

Писатель, опирающийся в творчестве на мирскую точку зрения, рассматривающий судьбу народа с позиций совести, гуманизма и здравого смысла, бессмертен. Ему не страшно испытание временем и упорное непризнание или недооценка. Пример тому — судьба Николая Лескова. Писателю и при жизни, и сейчас не прощается расхождение с революционной демократией и народничеством. Не принимается во внимание мощный темперамент и истинно русское правдолюбие, не позволявшие ему со всем, что видел, соглашаться, даже с самим Л. Толстым, которого считал «своим благодетелем».

Н. Лесков шел в литературе своей дорогой. Взгляд писателя был обращен вниз, в уездную, провинциальную, бродяжью, многотерпеливую Русь. Соответственно и языковой пласт его прозы составил живой разговорный язык сорванного с земли крестьянина-переселенца, крепостного парикмахера, ремесленника, семинариста, протодьякона, чиновника. В литературе воплощалась мечта А. Пушкина о писателях, которые, подобно Альфиери, смогут заговорить языком площадей и базаров, сориентируются на наречие московских просвирен, которые «говорят удивительно чистым и правильным языком». Всплески сказовых манер в прозе 20-х гг., пытавшейся отразить народный взгляд на события революции, имеют лесковские корни. «Бедняцкая хроника» А. Платонова «Впрок», объявленная критикой «кулацкой», и сейчас ждет своего возвращения к читателю как образец чистого эксперимента в области отражения народного сознания переломного времени в языковой стихии.

Мастерство самовыражений героев В. Белова, В. Распутина, В. Шукшина подпитано опытом сказочника и сказителя. Еще не сказано о школе Н. Лескова для А. Вампилова, уже на раннем этапе творчества отыскивавшего взаимосвязь национального театра с творчеством великого мастера. В те поры нелегко было найти замятинскую «Блоху», ядовитую сатирическим замахом пьесу, представлявшую переделку бессмертной повести «Левша». Интерес к провинциальной жизни и буйным, подчас экзотическим характерам пришел к А. Вампилову через связь с Н. Гоголем, А. Чеховым и Н. Лесковым.

Чем особенно привлекает сегодня Н. Лесков? Откройте любой его роман, статью или рассказ, и вы испытаете ощущение, что все это написано сейчас. Хотите понять, какие пружины задействованы бюрократом для собственного благоденствия, почитайте рассказ «Административная грация», где написано, как «согласно единогласно выраженной воле сотрудников», благодаря умению «не нарушить белизны ни галстука, ни манжет» (это и есть «грация»), они кушают «самый жирный пирог». Н. Лесков не мог предвидеть, в каком направлении пойдет развитие бюрократии, которая в своей алчности и в грации уже не нуждается.

Без Н. Лескова сегодня не понять до кон-

ца трагедии русского крестьянства в послеоктябрьские годы. В рассказе «Продукт природы» поведано о том, как безалаберно, непродуманно и жестоко сселяли крестьян с насиженных мест, дабы «подготовить» отмену крепостного права. На подводах, барках и плотах везли их в неведомые края, по дороге их держали в землянках целую зиму. Босые, жалкие, обездоленные, они страдали в дороге вшивой болезнью, которая была пострашнее голода. У детей «во всех складках тела, как живой бисер, переливали насекомые». Рассказчика потряс вид кормящей матери, у которой грудь была покрыта сплошь таким же серебрящимся живым ожерельем.

Образ бани, которая была столь необходима в длинном пути, обретает у Н. Лескова глубокий и горький смысл. Творцами переселения эта «роскошь» не предусматривалась. Им казалось, что имеют дело не с живыми людьми, а с «продуктом природы». Повествователю искренне жаль людей, он страдает и пытается им помочь из собственных средств. «Пускай это — продукт природы, но ведь и природа может мстить за себя». Давно и основательно укоренилось в обществе представление о «примитивности» мужика, если он (рассказчик) принял всерьез откровения Гейне: «Бедный народ не прекрасен; наоборот, он очень безобразен. Но безобразие это возникло от грязи и исчезнет вместе с нею, когда мы построим общественные бани, где его величество народ будет имет возможность мыться бесплатно». Поразительно, каким махровым цветом распустился подобный скептицизм в первые годы революции, как много породил он сторонников казарменного социализма. Произведите достаточное количество дешевой колбасы, откройте общественные столовые, и вы достигните благ, о которых и не мечтали,— так думали вдохновители и единомышленники из пролеткульта, РАППа, «Кузницы». Так думали и эстеты, к ним не примыкавшие.

Н. Лесков близок и дорог как художник, носивший в себе мысль о духовном единении народа. Роман «Соборяне» свидетельствует о кровной связи писателя с национальной традицией, укрепившей его на этом пути. Видна прямая перекличка с идеями «Выбранных мест из переписки с друзьями» и «Авторской исповедью», где Н. Гоголь страстно осуждал неосердеченный разум, гордость, благодаря которым люди разных мировоззрений превратили политические страсти в орудие борьбы. Н. Гоголь удивлялся, как в шуме и грохоте обличений исчезал искомый «средний голос» — «глас народа». Злым страстям писатель противопоставлял «сознание искреннее своих недостатков—и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах; желанье искренне учиться», убеждение «нет выше подвига, как подать руку изнемогшему духом».

Н. Лесков гениально раскрыл в «Соборянах» трагедию распространения чуждого национальному сознанию прагматизма, пренебрежения вековечными устоями народной жизни, откровенного отказа от служения общему делу, отторжения идеала, мечты о создании лучшей жизни для всех. Писатель видел, как испарялась в сознании общая идея народного блага и ей противопоставлялись перевороты, террор, насильственное изменение сложившегося уклада. Он настаивал: «Не хорошие порядки, а хорошие люди нужны нам». Их писатель искал всюду и, по преимуществу, внутри народа, в его низших слоях. В романе «Соборяне» дерзко противопоставлены антиклерикальным настроениям общества великолепные типы среднего духовенства, соборян, которые в трудной атмосфере общественного разброда, апатии пытались удерживать общество на высоте нравственного закона. Писатель знал — при многих бедах церкви основная часть ее деятелей, как никто, «знала скорби духовного быта» и умела служить не только идее бога, но и «идее божества». Н. Лесков нашел в среде духовенства людей, способных направить все свои духовные силы, всю энергию сердца на борьбу с расколом, разделением людей, порабощением света души торгашеством. Ему были омерзительны кликушества насчет церковной почвы, которая якобы не может более «растить белые лилии, сколько бы их ни подсаживали». Было ясно, что разрушение нравственной системы координат усиливалось, люди без ума и сердца сознательно «отводили глаза» от «настоящих причин зла, коренящихся в самом воздухе, которым дышит наш вертоград, дающий так много чертополоха и пустоцвета».

Что значит, по Н. Лескову, быть истинным, а не наемным духовным пастырем? Ответить на этот вопрос можно сполна, соединив в единый образ соборян трех пастырей старогородской церкви, являющих национальный тип и условия его жизни.

Протоиерей Савелий Туберозов мог бы прожить свою жизнь вполне благополучно, не будь он честным сыном своего народа. Но если бы он мог думать лишь о личном благе! Мысли такие его не посещали. Оттого-то небогатая внешними событиями жизнь наполнялась духовными и душевными потрясениями. Уже в первой проповеди о сыновьях вертоградаря он заговорил о том, как часто расходятся в жизни благие дела и благие намерения, принятия присяг и небрежения ими. Выговор Владыки и его предупреждение не помогли. Бросались в глаза оскудение церкви и злоупотребления монахов, на почве бедности срывающихся в грех. Но как избавить церковь от мирских благ и сохранить душу духовенства? Надвигалась пора смуты: «проповедовать — да некому; учить — да не слушают». Не сломили Туберозова доносы, раскольничьи козни, обвинения со стороны гражданских властей, потворствующих «вольномыслящим» и в то же время перекладывающих ответственность на протоиерея. Чем труднее становились времена, в коих от духовного пастыря требовали «вместо живой речи, направляемой от души к душе», «риторических упражнений», когда минули дни великих «светил светлых», а настали иные, когда «не умнейший слабейшего в разуме наставляет, а обратно», тем яснее понимал протопоп, что «сей дорогой (он — Туберозов) не ходок».

«Одинокий промеж своих», отказавшийся от распространенного взгляда на мир: «лишь бы-де по наш век стало, а там хоть все пропади», Туберозов решается на отчаянный шаг: собрав во храме всех чиновников, он произносит обличительную программу — проповедь, после которой «друзья его сошлись с его врагами, и в одно общим хором гласили: нет, этого терпеть нельзя». И началась для Туберозова с тех пор «не жизнь, а житие». Житие мученика, не отказавшегося ни от одного из своих принципов.

Нет в «Соборянах» антиклерикальных идей и быть не могло, потому что одна церковь по-настоящему и пеклась в те годы о сохранении православия, и Н. Лесков это хорошо видел. Изображенные им рядовые служители старогородского храма не ангелы, но в ошибках и земных прегрешениях всегда умели остаться людьми, сохранить свой «надзвездный мир» — душу, отделить добро от зла и человека — от нелюдей и сатанистов. Второй иерей церкви Захария имел «кроткий дух» и маленькое тело. Даже внешним видом, а тем паче нравом, стыдился он отягощать жизнь. Дьякон Ахилла, огромный, сильный человек, с нравом «веселым, смешливым и притом безмерно увлекающимся», нес в мир жизнелюбие и справедливость. Этим немногим пастырям духа нелегко было противостоять отрицателям и вольтерьянцам, плодившимся, как грибы после дождя.

Упадок веры так тревожил писателя, что он откладывал перо беллетриста и брался за публицистику. Ее набатный голос нам еще предстоит услышать. Но чтобы писателя понять до конца и верно оценить, нужно отказаться от откровений типа тех, что высказывал Ю. Нагибин в своей телепередаче 1983 года, повторенной в августе 1988 года.

Н. Лесков предстал в ней как великий мастер, мировоззренчески не дотянувшийся до передовых идей. В заслугу ему поставлена борьба с церковью. И это говорится о человеке, ничем не поступившемся в борьбе против духовного нигилизма.

В обстановке меняющегося отнюдь не к лучшему общественного климата Н. Лесков скорбел об утрате народных искусств и ремесел, имевших вековую, неповторимую историю. Одно из проявлений этого процесса — кризис иконописи. В ее «безобразном повреждении», покинутости он видел «потерю, о которой стоит пожалеть». В состоянии, когда народ оставался малопросвещенным, иконы были и книгой, с которой читалась история, и источником, поддерживающим в сознании необходимость «искупительных жертв и деяний». У церкви, писал он, «отнимается одно из самых удобных средств распространения в народе знакомства с священною историею и деяниями святых». В композиции «Соборян» полемически заострена память старинных жанров — жития и проповеди

веди, столь важных в раскрытии духовного подвига героев.

С искренним возмущением Н. Лесков спрашивал: «Но почему же во всей русской литературе так редко встречается в необезображенном виде сельская попадья или дьяконица?

...Потому что берут для описания одно кажущееся, одну внешность, а не скрытое от глаз духовное богатство, которое иногда бывает очень велико, и все оно изживается дома, у припечка».

Протопопица Наталья Николаевна, добрая, тихая, каждую минуту готовая снять с мужа великое напряжение, достойное продолжение аввакумовской Марковны и неповторимый тип в художественной галерее русских женщин.

Вот один из множества примеров ее самоотверженности, кротости и благородства: мучило протопопицу сознание, что в прошлом у ее красивого и такого ладного мужа могла быть жизнь, неизвестная ей.

...Деликатно объясняет она Савелию причину любопытства своего: «Нет, ты, отец Савелий, вспомни, может быть, когда ты был легкомыслен... то нет ли где какого сиротки?» У протоиерея были основания думать: «Где, кроме святой Руси, подобные жены могут быть?»

Эти строки Н. Лескова читаешь сейчас с чувством особой благодарности. Ведь как свободно стала разгуливать по страницам больших и малых публикаций женофобия! Поэты, прозаики, критики козыряют этим, словно наступила пора, когда мужская половина человечества достигла такого уровня самосознания, что готова взять на себя заботу об обеспечении семьи и тяжкий физический труд, остающийся уделом женщины. Но не дело забывать, что вынесла русская женщина на своих плечах в годы войны, что выносит сейчас, наблюдая ежедневно и ежечасно феминизированных с головы до ног мужчин. В фильме В. Соловьева «Асса» роккеры, обвесившие себя отнюдь не мужественными доспехами, выкрикивают: «Мы ждем перемен...» Да, ждут. Мужского пола существа, способные на трудное дело, становятся редкостью. Неблагородство начинает выступать как доблесть.

Роман «Соборяне» актуален силою обнажения первородных начал добра и зла. Активно противостоят они друг другу в эпохи кризисные, переломные. Есть ли у Н. Лескова ответ на вечный вопрос: что стимулирует в обществе выбросы злых амбиций? Чего от них ждать? Было ли что-нибудь подобное в прошлом? Было. Наилучшим доказательством тому страницы бессмертного романа. «Да вы еще понимаете ли, что вы лепечете? Вы еще знаете ли цену Каину-то? Что такое говорит ваш Авель? Он больше ничего как маленький барашек, он низкопоклонный искатель, у него рабская натура, а Каин — гордый деятель — он не помирится с жизнью подневольною. Вот, говорит, как его английский писатель Бирон изображает...» Эти слова, словно копирующие выступления некоторых местных авторов в иркутских газетах по спектаклю ТЮЗа «Каин», принадлежат героине Николая Лескова — ученой даме Старогорода Бизюкиной. Милая ученая дама, воссозданная интуицией великого писателя, и не подозревала, как она бессмертна. Она умела в одночасье изобразить из себя демократку и основательницу детских народных школ, если на это была мода. Но в душе-то она каинистка, и излучаемые ею флюиды нигилизма опасны и разрушительны. Даже зрелый муж дьякон Ахилла после ее исповеди так «наспиртуозился», что сам себя не узнал: «Хочу я быть Каином, да и шабаш...» Подперся по-офицерски в боки руками и закричал: «Я царь, я раб, я червь, я бог!»

Н. Лескова читатель почти не знает. Его нет в университетских и педвузовских программах. Лишь после XX съезда он издан в нашей стране далеко не полно. Но и как издан? Составитель комментария к роману «Соборяне» И. Серман уведомляет читателя, что героя его Савелия Туберозова не надо принимать всерьез, как это делали «газеты реакционного направления «Русский мир», «Гражданин» др.

Взгляды И. Сермана не изжили себя и сегодня. Между тем роман поучителен с точки зрения нравственной проповеди, не допускающей мысли о предательстве, если человеку и выпадает участь в одиночестве противостоять разрушительной волне бесовства и каинизма. Писатель исследовал труднейшую модель людского поведения переломной эпохи. Его герои словно из вчерашнего дня шагнули к нам.

«Среди общего сна и покоя два человека, которым не спалось, встретили в старом Городе... день, в который бездна застоя и спокойствия, наконец, призвала другую бездну; день, с которого под старогородскими кровлями начинается новая эра».

Бездна застоя, апатии и равнодушия неизбежно влечет за собою расплату — «другую бездну». Наступление новой эры зависит от исхода борьбы. Н. Лесков видел выход в соборности и ее верных ревнителях.

Старинное понятие «соборность» ожило в современном языке как символ гражданского единения, как выражение общих, коллективно вырабатываемых норм, как воспитание человека гражданственного, способного ощутить себя хозяином страны, озабоченным ее судьбой. За понятием «соборность» всегда стояло представление о единстве, его спасении и сохранении. «Жизнь духа есть истинная жизнь, и от нее гибнет или же восстает все иное, сущее окрест», — так думает герой романа Д. Балашова «Ветер времени» митрополит Московский и Владимирский Алексий, поддержавший идеи великих отцов русской церкви XIV века. Благодаря им Россия, зажатая ордой, мусульманством и католичеством, спаслась, обратив в дело великую духовную энергию — чувство родной земли, патриотизм в его самых высоких проявлениях.

Герои Н. Лескова живут в условиях все разрастающейся пропасти между церковью, ее лучшими представителями, каким был Туберозов, народом, живущим в той самой «бездне застоя», в котором все слышнее и явственнее раздаются голоса Бизюкиных, Пропотенских, Термосесовых, людей не просто безнациональных, беспочвенных, но как перекати-поле сдуваемых ветром в ту сторону, где скапливается все, что ветром легко вырывается и несется в одном направлении. Направление — это отрицание святынь, нравственных устоев, всепроникающего холодного расчета и рассудка, сметающих на своем пути самые начатки идеализма.

С каким наслаждением насаждает учитель Препотенский неверие в святость и тайну — Земли! Его лозунг — разрушение, и ему он следует во всем. На вскрытии трупа убедил детей, что души у человека нет, так как нигде она не помещается. Он сварил сам труп утопленника, чтобы выставить в доме матери-просвирни его скелет. Ничего, что та не может спать да и просто жить. Он, Препотенский, вольтерьянец, ему это надо доказывать каждый день. Самое лучшее для этого средство — «порицать патриотизм и начала национальные». Он осмеивал при детях «благопристойность, представляя ее во многих отношениях даже безнравственной». Знакомый тип и знакомое к нему отношение. При откровенном отталкивании молодежи от опыта старших поколений лесковский математик весьма современен. Он хотя и понятия не имел о классовой борьбе, но зато хорошо усвоил принципы самоутверждения, основывающиеся на тотальной критике. И если ради этого надо пожертвовать ближним, Препотенский готов исполнить и это. Читатель видит, как собственная мать стала помехой в борьбе с инакомыслящими. Вся загвоздка была в том, что просвирня считала себя человеком и думала, что «имеет право верить.. Не будь этих взглядов, моя мать давно бы мне сдалась и уступила...»

Лиха беда — начало. Готовых мать родную заложить не за понюшку табака советская литература показала во множестве. Даже в поэзию они пришли с этим, как со знаменем.

Иду на мир — и на тебя, мамуся,
Я, пьяный радостью властителей земли.

В схватке миров эти герои выбирали борьбу, а не мамусю. Картина вырисовывалась нешуточная:

В такие дни таков закон:
Со мной, товарищ, рядом
Родную мать встречай штыком,
Глуши ее прикладом.
Нам баловаться сотни лет
Любовью надоело...

Разрушение нравственного закона, расползание цинизма и самоутверждение любой ценой, «эксцессы самоиронии» (С. Аверинцев), как показывает Н. Лесков, не осуждаются давно и в условиях духовного застоя воспринимаются чуть ли не как революционность. Не страшно. В «Соборянах» читаем: «От этого Москва не загорится». Подобным образом отмахивается от проблемы директор гимназии.

новый губернатор Старогорода, человек русский, еще молодой, только приехавший к месту назначения, развивая свои идеи, в первую очередь «заговорил о национальном фанатизме и нетерпимости».

Достаточно развернуться одному человеку, лишенному ума и совести, как воспоследует в поведении людей цепь безнравственных поступков. Туберозов горестно констатирует: «Грядет час, и ныне есть, когда здравый разум будет не в состоянии усматривать во всем совершающемся хотя малейшую странность». В романе раскрыт механизм расползания темных, злостных антиобщественных проявлений. Пример тому — образ Измаила Термосесова, словно дождавшегося своего часа неукротимого подлеца. Появившись в провинциальном городке под маской общественного деятеля, он начинает с разглагольствований антинигилистического и одновременно нигилистического свойства — такая гремучая смесь удобна в зависимости от обстоятельств. Кончил тем, что украл алмазы у единомышленницы Бизюкиной, обобрал покровителя Борноволокова, написал доносы на тех, кто имел нравственное влияние на людей. Обычно это бывает выгодно для собственной карьеры.

Что может остановить Термосесова?

Старогородским детям, которых называет «паршью», советует начинать с воровства гороха в огородах. «А когда в Сибирь погонят, то да будет над тобой мое благословение». Распространение грамотности он рассматривает как ненавистный ему созидающий момент, а «нам надо все разрушить». Ненависти к отечеству не скрывал. Противопоставляя традиционный патриотизм своему цинизму в этих вопросах, он рассуждал: «Они (поляки — *Н. Т.)* любят свое отечество, а мы свое ненавидим. ...У полек, стало быть, враги — все враги самостоятельности Польши, а ваши враги — все русские патриоты. «Это правда», — гордится Бизюкина, и, вдохновясь, Измаил пообещал: укажите, кто вам злейший враг, и «он испытает на себе тяжесть руки Термосесова». Вообще Термосесов вполне воспитал в себе право «сортировать» людей, дабы решать: «Ты такой? — так тебя, а ты этакой? — тебя этак. Не наш ты? Я тебя приневолю, придушу, сокрушу». Вот такой он, «бывший нигилист». Чем он не Каин?

Критика упорно осуждала неприятие Н. Лесковым нигилизма и его носителей. Искали в его переписке свидетельства того, что он в будущем пересмотрел творческие позиции. Это симптоматично. В школах и по сей день Базаров — герой, носитель революционных начал. Как только не восхваляется его бунт против «отцов». У Н. Лескова тип нигилиста взят в последующей эволюции, в его потенциальных возможностях. Если бы он мог услышать нигилистов 20-х гг.!

«Соборяне» написаны в пору, когда устои православной церкви держались усилиями истинных подвижников, таких, как Туберозов. С его смертью «старогородской поповке настало время полного обновления». Каким оно стало — показало время.

Н. Лесков свидетельствует — жестокие напасти обрушивались на духовенство, когда оно пыталось бороться с пьянством как национальным бедствием. Запрещались проповеди против пьянства, министр финансов требовал от святейшего синода благоразумия в поддержке возникающих обществ трезвости: «Не должно быть допускаемо, как противное не только общему понятию о пользе умеренного употребления вина, но и тем постановлениям, на основании которых правительство отдало питейные сборы в откупное содержание». Упоминаемый комментатором И. Серманом журнал «О сельском духовенстве» назван в числе реакционных. Н. Лесков упоминает о нем в «Соборянах» как о запрещенном ввиду его проповедей против пьянства и распущенности. Туберозов, получив отказ в подписке на него, изумлен: «Вот поистине гениальная чья-то мысль: для нас, духовных, книга о духовенстве запрещена, а сии, как их называют, разного сорта «нигилисты» ее читают и цитируют!.. Ну что за надругательство над смыслом, взаправду!»

Атака на церковь была могущественной, по принципу: «Все средства хороши». Бизюкиной и Препотенскому в их разрушительной работе было безразлично, с кем они объединяются. Если можно использовать антирусские настроения ссыльных поляков, почему бы и нет? Они заказывают отслужить в православной церкви

панихиду по лютеранам. Можно и посмеяться над этим, а можно использовать и как донос: ведь в записке были имена декабристов.

Туберозову казалась неразрешимой загадка целенаправленного разрушения веры. «Откуда взялась ожесточенная вражда и ненависть» к ней? Происходит ли сие «от стремлений к свободе; но кому же вера помехой в делах всяческих преуспеяний к исканию свободы? Отчего настоящие мыслители так не думали?»

Один, но главный ответ Туберозов нашел. Став свидетелем высокой степени равнодушия к крушению нравственности, невольно подумал: лучший способ выкорчевывания корневых начал в человеке—чувства патриотизма, национального сознания — глумление над историей страны. Уже тогда былые героические страницы родной истории перестали иметь смысл. Люди 1812 года казались выжившими из ума. Глядя на разрушение деревянной церковки, Савелий подумал: «Живите, государи мои, люди русские, в ладу со своей старой сказкой. Чудесная вещь старая сказка! Горе тому, у кого ее не будет под старость!»

Однако жизнь входила в иную колею. Она шла к разрушению святынь и устоев. Туберозов был призван православной церковью выращивать в человеке «горнее чувство» любви к ближнему, даже если он «неверный». А на деле, по примеру католиков, обозначались сословные привилегии даже в этой среде. Православие утверждало равенство всех перед образом Христа, а губернские власти диктовали свои условия. Русская жизнь хранила еще подсознание соборности как начало начал общественной жизни, а на этом фоне настойчиво выставлялись права государственных мужей решать, кому отпустить грехи. Туберозову их не простили. Тем и неугоден был протоиерей, что проникновению католицизма противопоставлял первую из заповедей православия: все люди — братья. В этом мире не могла утвердиться «карательная юстиция по римско-византийскому образцу», равно как и противоестественной была способность «самоутверждаться — ни индивидуально, ни национально» (С. Аверинцев, Византия и Русь: два типа духовности). Широкая душа Туберозова — истинно русская душа. Ее ранили всплески русофобии и разрушение веры в себя и отечество.

Лесковский протоиерей был прозорлив и понимал — за деформацией национального сознания последует разрушение патриотических чувств. Так, в «Соборянах» много раз упоминается о ссыльных поляках, об их ненависти к России и православию. Но выделено и главное в этом народе: священное чувство патриота своей многострадальной родины. Время показало, как оно ушло из сознания новых поколений.

На страницах газеты «Известия» напечатана статья Л. Топоркова «Снять одежды покаяния. Польская печать о черной пропаганде». Странно, но она, как и многое другое, не вызвала беспокойства, не получила откликов. А ведь говорится о невероятном. Страна, традиционно славившаяся высоко развитым чувством патриотизма, утрачивает его. «Эмиграция молодежи, специалистов с высшим и средним образованием». Как говорится, «утечка мозгов», склонность к все поглотившей критике, космополитизм. Не действовать, а жаловаться на жизнь, стало привычкой. Непатриотично ныне говорить о собственной высокой культуре, о добрых переменах. «В последние годы нытье становится как бы даже национальной чертой. Жалуются все: и те, кто живет в достатке, а таких в стране много, и те, кому и впрямь трудно» (Известия. 1988. 16 авг.).

Роман «Соборяне» учит уважать духовный опыт каждого народа, его стать и нрав, его историю и обычаи. Но вот вопрос: способен ли народ внимать голосам пророков? Способен ли их защищать? Увы, не всегда и уж совсем не дано ему защитить их. Но через весь роман в глубоком течении авторского подсознания живет вера. Не слепая, не оторванная от реальных обстоятельств, терпеливая вера в разум народа, во все времена в глубинных своих слоях хранящего разум и терпение. Он вынужден одолевать все напасти, и жизнь тем и строится.

Избавление от апатии и равнодушия в подъеме духа, в осознании себя людьми, способными изменять обстоятельства к лучшему. Вспомнить только, что одолел народ в разные смутные времена! Давно пора вспом-

нить, какие неслыханные жертвы принял на себя народ ради веры в справедливое общество в 30 — 40-е годы.

Герой Н. Лескова всюду пытал снедающую его мысль: «Что будет из всей такой шаткости?». Его потрясали откровения типа «Идеал, вера? Нечего, брат, делать, когда этому всему, видно, время прошло». Но нет. Туберозов страдал от осознания: «Без идеала, без веры, без почтения к деяниям предков великих... Это... это сгубит Россию». Оставалось одно: «агитировать за свободу церкви и за русскую народность», учиться постигать душу, натуру человека, чтобы понять, откуда проистекает «бесстрастное равнодушие к добру и злу», «оправдание неоправдимого, порицание достойного». Что вызывает к жизни «охуждение горячности патриотического чувства»? Как остановить «торговлю совестью»? «Там ли спасенье, где чаем, — там ли погибель, где оной боимся?»

СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНЬЯ, «СОДРУЖЕСТВО»!

Печать сообщила о создании в Иркутске новой общественной организации «Содружество», призванной объединить, как выразился в интервью Иркутскому телевидению председатель «Содружества» Д. Сергеев, «писателей не совсем русских». Судя по логике событий, организация эта сколачивается в пику Товариществу русских художников. Более того, соглашаясь со многими положениями, выдвинутыми Московским Товариществом, инициаторы «Содружества» нашли необходимым прежде всего оплевать Иркутское Товарищество, которое-де выражает «духовную болезнь общества», «переориентирует внимание с действительных проблем на поиски «врагов нации» и стоит на позициях, чуждых «гуманистическим идеалам литературы, нравственным принципам русского народа». Вот так, ни больше ни меньше! Видно, крепко не по душе кое-кому само название Товарищество русских художников, коли даже факт его рождения в Иркутске встречен в штыки!

Мы еще не оформились организационно, не опубликовали своих воззрений на волнующие общество проблемы современности, не развернули знамен, — а вождям «Содружества» уже известны наши «тайные подрывные» мысли. Завидное провидчество, особенно если учесть, что даже информацию в два десятка строк о провозглашении Товарищества создатели «Содружества» не удосужились прочесть, о чем свидетельствует их «Заявление для печати», в котором вместо Т. Хомутовой секретарем Товарищества названа Н. Тендитник!

Ни в альманахе «Сибирь» (который, впрочем, не является органом Товарищества), ни на лектории Союза писателей «Культура и перестройка», в которой участвовали некоторые члены нашего оргкомитета, не было сказано ни единого слова, дающего повод наклеивать на Товарищество или отдельных его членов подобные ярлыки. Как провозглашено в обращении Московского Товарищества, которое мы полностью разделяем, наши идеалы: патриотизм, социализм, перестройка, возрождение всех национальных культур страны, включая русскую, подлинный интернационализм и равная для всех гласность.

Тем не менее мы приветствуем создание «Содружества», призванного, как мы понимаем, объединить небольшую группу писателей, попытавшихся на памятном отчетно-выборном собрании расколоть Иркутскую писательскую организацию, и определенную часть интеллигенции города. В наше время быстрых общественных перемен и социальной мимикрии важно знать, кто есть кто. Мы полагаем, «не совсем русские» писатели (и другие творческие работники) имеют бесспорное право на организацию, тем более, в «Содружество» вошли известные еврейские советские писатели Сибири М. Сергеев (Гантваргер), О. Иоффе и др. Равноправное развитие всех национальных культур, в том числе и еврейской,— основополагающий принцип Товарищества. Более того, мы готовы поддержать открытие

и других центров, способствующих возрождению и развитию культуры и языка проживающих в Сибири народов, вплоть до создания в школах Иркутска отдельных классов с преподаванием на родном языке (украинском, татарском, идише, польском, якутском и т. д.). Мы искренне приветствуем восстановление имеющей свои традиции еврейской культуры Сибири. При этом, однако, мы выступаем против всяческих проявлений сионизма, провозглашающего расовое превосходство еврейской нации, и полагаем его врагом не только русского, но прежде всего еврейского народа, в чем, надеемся, «Содружество» согласится с нами.

Развитие же культурных традиций Сибири — наша общая глобальная задача, в решении которой обе организации, полагаем, будут выступать рука об руку.

Вместе с тем настораживают иные формулировки «Заявления для печати». Конечно, это дело внутреннее, тем не менее не только у нас вызывает недоумение, например, желание «Содружества» стоять одновременно «на позициях ОБНОВЛЕНИЯ, ПРЕЕМСТВЕННОСТИ и духовного ВОЗРОЖДЕНИЯ». Или стремление объединиться с представителями «СВОБОДНЫХ профессий». С кем это — уж не с фарцовщиками ли, проститутками и рэкетирами?! Впрочем, вероятно, подобные неточности объясняются трудностью русского языка.

Итак, несмотря на явные попытки «Содружества» столкнуть наши общества лбами, мы подобной ориентации не приемлем (если, разумеется, «Содружество» и впрямь готово стоять на позициях перестройки и интернационализма). Более того, в ряде предстоящих нам дел предлагаем равноправное сотрудничество и братскую взаимопомощь. В сегодняшнем бурном море жизни всем хватит дела, лишь бы трудились наши «экипажи» на благо народов страны.

Счастливого же плаванья, «Содружество»!

Б. ЛАПИН,

председатель оргкомитета Иркутской организации Товарищества русских художников.

СОДЕРЖАНИЕ АЛЬМАНАХА «СИБИРЬ» за 1989 год

ПУБЛИЦИСТИКА

ПРОЗА

ПОЭЗИЯ

КРИТИКА, ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

ИНТЕРВЬЮ «СИБИРИ»

КРАЕВЕДЕНИЕ

Составители В. В. Козлов, М. И. Тугова
Художественный редактор А. Г. Маклыгин
Технический редактор Л. А. Жернова
Корректор Г. Горшкова

Рукописи не рецензируются и не возвращаются

Адреса редакции:
664000, г. Иркутск, ул. Степана Разина, 40,
Союз писателей, тел. 24-54-76
672000, г. Чита, ул. Богомякова, 23,
Союз писателей, тел. 3-45-78

ИБ № 1517
Сдано в набор 18.09.89.
Подписано в печать 14.12.89.
Формат 70×90 1/16.
Бумага тип. № 2.
Усл. печ. л. 9,94 (с вкл.).
Уч.-изд. л. 12,68 (с вкл.).
Усл. кр.-отт. 10,16.
Тираж 12 000 экз.
Заказ 1744. НЕ 00157.
Изд. № 6317.
Цена 70 коп.

Восточно-Сибирское книжное издательство Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
664000, г. Иркутск, ул. Марата, 31.
Типография издательства «Восточно-Сибирская правда».
664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109.

В 1990 году АЛЬМАНАХ «СИБИРЬ» ПЛАНИРУЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ

Экологические очерки Владимира Жемчужникова и Валерия Хайрюзова.

Стихи и прозу Алексея Зверева, Анатолия Байбородина, Бориса Лапина, Марка Сергеева, Анатолия Горбунова, Григория Вихрова, Валерия Нефедьева и других.

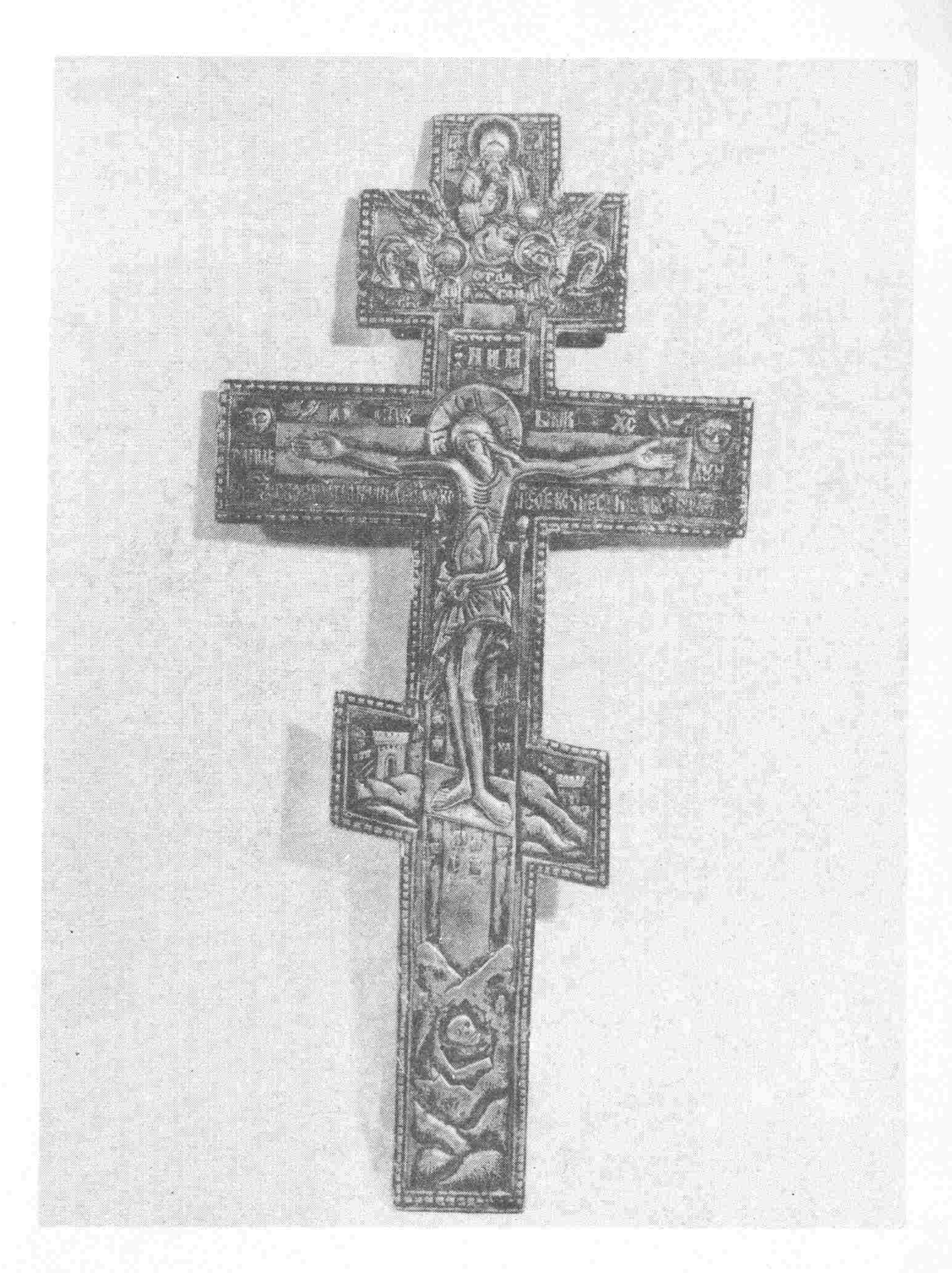
Под новой рубрикой «Интервью «Сибири» — мнения по разным актуальным вопросам известных в стране экономистов, критиков, писателей, журналистов, общественных деятелей.

Под новой рубрикой «Из русского философского наследия» статьи и письма Павла Флоренского, Сергея Булгакова, Василия Розанова, Владимира Соловьева.

Впервые в нашей стране — страницы из книги «Убийство царской семьи» Н. В. Соколова, судебного следователя по важнейшим делам, расследовавшего эту трагедию.

А также малоизвестные страницы из истории гражданской войны в Сибири, протокол допроса Верховного Правителя А. В. Колчака, дневник А. Н. Пепеляева и т. д.

Выписывайте альманах «Сибирь». В розничную торговлю альманах «Сибирь» поступает в ограниченном количестве.



Крест-распятие. XIX в.

70 к.



ЧИТАЙТЕ

В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ:

ВЛАДИМИР ЖЕМЧУЖНИКОВ — ПЛАЧ ПО КРАСАВИЦЕ АНГАРЕ

АЛЕКСАНДР ТУРИК — ТРЕЗВОСТЬ: БОРЬБА ЗА ДАЛЬНИХ И БЛИЖНИХ

КРАЕВЕДЕНИЕ — ДНЕВНИК А. Н. ПЕПЕЛЯЕВА

ИРКУТСКАЯ ЛЕТОПИСЬ (Летописи П. И. Пежемского и В. А. Кротова)





Иркутск, Восточно-Сибирское книжное издательство, 1989